

Хилл Сьюзен

Самервил (рассказы)

Сьюзен Хилл

Самервил

Рассказы

Перевод с английского Е. Суриц

Составление и предисловие Е. Гениевой

Рассказы английской писательницы Сьюзен Хилл посвящены ее соотечественникам. В них, как правило, идет речь о людях, перенесших несчастье или подвергшихся тяжкому испытанию; это объясняется не тягой к мелодраме и "остроте ощущений", а суровым пониманием, что, лишь преодолев разочарования и боль, человек научится ценить жизнь и любовь.

Содержание

Е. Гениева. Правда там, где сердце

Дочка Хэллоранов

Человек-слон

Четки зеленые и красные

Друзья мисс Рис

Осси

Самервил

Правда там, где сердце

Когда известного английского писателя и литературного критика Чарльза Перси Сноу спросили, кто из молодых прозаиков Великобритании кажется ему наиболее талантливым, он, не задумываясь, ответил: "Сьюзен Хилл. Я давно слежу за ее творчеством, а моя жена, Памела Хэнсфорд Джонсон, вправе считать себя ее крестной матерью. Она заметила Сьюзен Хилл, когда еще никто о ней ничего не знал, и с похвалой отозвалась о ее первых пробах пера. Сьюзен Хилл - прирожденная писательница".

Признание к Хилл пришло очень рано: в 1970 г. в возрасте двадцати восьми лет молодая писательница, на счету которой было уже, правда, три романа, стала лауреатом одновременно двух видных литературных премий Великобритании: Сомерсета Моэма за роман "Я - в замке король" и Совета искусств за сборник рассказов "Альбатрос". Не остались без внимания и более поздние ее произведения: роман "Ночная птица" (1972) был удостоен премии Уайтбрета, а второй сборник рассказов, "Когда поют и танцуют" (1973), премии Ллевелина Райса.

Британские критики часто и не без оснований сравнивают Сьюзен Хилл с Джейн Остин, классиком английского романа XIX в., мастером точнейших социальных наблюдений и тонкого психологического рисунка. Как и у Джейн Остин, границы изображаемого Сьюзен Хилл сужены; небольшие провинциальные, душные в своей скуке и монотонной череде дней города, поселки, деревни, больницы, заброшенные поместья - вот где происходит действие ее книг. Есть у нее и свои постоянные герои. Мужчины, женщины, старики, дети, подростки. Самые обыкновенные. Только еще и несчастные, хоть в чем-то, да обездоленные жизнью. Несколькими уверенными мазками Сьюзен Хилл умеет нарисовать скупой, но объемный социальный портрет ее персонажей: крестьян, к описанию быта и нравов которых она обращается очень часто ("Дочка Хэллоранов", "Четки зеленые и красные"), представителей английского среднего класса в его разных градациях - от верхней (родители Самервила в рассказе "Самервил", семья Вильяма в рассказе "Человек-слон") до низшей (няня в больнице в "Друзьях мисс Рис", лавочники в рассказе "Самервил"), "золотой молодежи" ("Осси").

И все же главный угол писательского зрения Сьюзен Хилл этико-психологический. Сквозь тяготы быта, житейские неурядицы, сквозь то, что спешащему человеку второй половины XX века может показаться случайным, преходящим, а потому даже и неважным, Сьюзен Хилл вглядывается в самую глубь сущего. В одиночество и страх, оттого что враждебный, холодный мир, где живут ее герои, стискивает железным кольцом; в любовь - самый ценный дар, в надежду...

Проза Сьюзен Хилл - полный тончайших оттенков рассказ о душе человека, о ее смерти и ее рождении. Сила этого рассказа тем более велика, что писательница как бы устраняется из повествования, во всяком случае не навязывает своего суждения читателю. Простые, отнюдь не жалостливые и совсем не возвышенные слова; пронзительные в своей выверенности и точности детали обнажают одиночество, горе, отчаяние или же внезапное рождение живого чувства до такого предела, до такой почти осязаемой ясности, что минута возникает ощущение ожога, подлинной физической боли.

Сьюзен Хилл много и хорошо пишет о детях. Детство - первое столкновение с жизнью, пора рождения личности. Вильям, маленький герой рассказа "Человек-слон", - добрый, послушный ребенок. Он готов смотреть на мир глазами близких ему людей; он безоговорочно верит всем суждениям своей няни Фосет, не допуская мысли, что эта недалекая женщина может быть хоть в чем-то не права. Но душа этого мальчика до странности пуглива: он любит одиночество, сторонится сверстников, с каким-то надломом, остро ощущает зло, притаившееся за самыми знакомыми предметами. Ужас, близкий к отчаянию, охватывает Вильяма на детском празднике, где приятель няни Фосет, работающий затейником в богатом отеле, выступает в роли огромного слона. Все дети веселятся: им очень нравится, когда этот нелепый слон берет их на руки. Все - кроме Вильяма. И Человек-слон, такой реальный в описанной Сьюзен Хилл ситуации, постепенно в сознании читающего становится жутким символом безобразных гримас безжалостной, убогой жизни.

Зло у Сьюзен Хилл не абстрактная категория, не сила, изначально присутствующая в мире. Зло творят обстоятельства и люди. Полон глубокой иронии образ Человека-слона: унижительная маска, надетая ради заработка, скрывает усталое лицо человека, который сам - жертва жизни, ступающей по таким, как он, своими слоновьими шагами.

Жизнь исковеркала Человека-слона, но как ей удалось столь рано напугать маленького Вильяма? Жестокость внешнего мира, подобно огромной раковой опухоли, проникает в рассказах Сьюзен Хилл и в самое сокровенное пристанище человека - в его дом, отравляет страшным, самым убийственным ядом равнодушием. Вильям, как, впрочем, и другие малыши Сьюзен Хилл, - жертва холода, парализовавшего его душу с детства, жертва собственной матери, для определения которой Хилл найден всего один, но уничтожающий в своей иронии образ женщины в "серо-жемчужной гостинице".

Таких жертв людской черствости, эгоизма, себялюбия, ханжества, лицемерия, нетерпимости у Хилл множество. В неправильной, "стылой" семье вырос Самервил, ненавидящий свою сестру. Блестящий, очаровательный студент Оксфорда Осси - сын еще одной "никчемной матери". Этот напоминающий молодого Оскара Уайльда юноша, которому прочили блестящую карьеру, кончает свои дни продавцом безобразных заводных игрушек: уточек-раскоряк, обезьянок-велосипедистов, безостановочно и бессмысленно крутящих колеса... Как и маска слона в рассказе "Человек-слон", механические игрушки становятся еще одним символом пустой, суетной жизни. Жертва косности и Марта из рассказа "Самервил". И даже быстро сгоревшую маленькую дочь Хэллоранов погубил не только непонятный недуг, но и духовная черствость родителей, не подозревающих, что их больному ребенку нужно тепло...

Сьюзен Хилл бесконечно высоко ценит так редко встречающееся в жизни ее героев благословенное тепло домашнего очага и другой человеческой души. Отблеск этого животворного тепла лежит на образе Бартона, с именем которого у Самервила связано все самое светлое, дерзновенное. Однако обаяние личности Бартона в немалой степени объясняется внутренними духовными силами, которые дала ему его дружная, умеющая радоваться семья. Сочувствие, сострадание для Сьюзен Хилл - надежная защита от самых больших несчастий. С нескрываемой завистью говорит Марта о родных своей подруги, как и она, родившей ребенка без мужа. Но ее не затравили, как Марту, напротив, семья стала нравственной поддержкой в постигшем ее горе. Сочувствие мадам Кюрвейе скрашивает тягостную жизнь горбуна Марселя ("Четки зеленые и красные"); привязанность дочери Хэллоранов озаряет страшное существование глухонемого Нэйта Туми.

Жизнь ломает многих: болезнь навсегда приковывает к постели мисс Рис, рождается горбун, умирает девочка. Насмотревшись на бесконечный поток людской злобы, горя, одиночества, кюре Беньяк видит все меньше и меньше смысла в происходящем. Озлоблен непрекращающимися несчастьями крестьянин Альбер: падежом скота, смертью ребенка, рождением сына-урода. Ненавидит жизнь Нелсон Туми, безобразна в своей злобе няня Уззеби, возможно, убийца мисс Рис.

Но среди людского горя и страдания, захлестнувших страницы рассказов Сьюзен Хилл, попадаются удивительные несломленные души, излучающие свет. Прочитав историю крысолова Нелсона, нетрудно представить, каким бы мог стать глухонемой Нэйт. К тому же его каждодневно окружает не только физическое молчание, его преследует молчание душ, чурающихся, суеверно боящихся его страшной профессии гробовщика. И в этих жутких обстоятельствах Нэйт остается человеком.

Важно увидеть, что добро, как и зло, у Сьюзен Хилл - категория отнюдь не метафизическая. Добро, как и зло, творится людьми. Душа Нэйта жива, потому что рядом с ним был не только озлобленный брат, но и добрая, жалеющая его сестра, потому что немоту его жизни озарило общение с маленькой девочкой. Одно сердце стучится в другое... Это закон жизни для Сьюзен Хилл. Стучится сердце несчастной мисс Рис, заточенной в богато обставленной больничной палате. Стучится сердце горбуна Марселя, забитого несчастного урода, сохранившего чистую, незапятнанную злобой душу, стучится сердце опозоренной Марты.

Часто, слишком часто мир отвечает безразличным молчанием на этот зов. Безысходной тоски полон взгляд мисс Рис, обращенный в пустой сад. Желание Осси развлечься - не попытка бесшабашного человека вытянуть у приятеля лишний фунт, но крик его мятущейся, гордой души, тайно мечтающей, что ее, быть может, обогреют участием, которое не измерить фунтовой бумажкой. Остаются без ответа письма Марты.

На стук усталого, измученного сердца у Сьюзен Хилл нередко откликаются дети, в которых жизнь еще не успела уничтожить врожденное умение слушать и слышать. На безнадежный, невыговоренный, лишь застывший в глазах зов мисс Рис о помощи откликается мальчик, с

детства уже сам брошенный, еще не понимающий, но всем сердцем чувствующий, что мисс Рис необходимо его присутствие.

Во всех рассказах Сьюзен Хилл есть смерть. Умирает мисс Рис, умирает дочка Хэллоранов, умирает мадам Кюрвейе, умирает Осси... Смерть для Сьюзен Хилл - тоже закон сущего, имеющий трагически высокую власть над оставшимися в живых. Мы даже толком не знаем, при каких обстоятельствах умер близкий Самервилу человек, его друг Бартон. Да это и неважно. Важно, какие нравственные последствия имела эта смерть для судьбы Самервила. Она еще больше ожесточила его, превратила в живого мертвеца.

Всего в нескольких фразах рассказывает Сьюзен Хилл о сестре глухонемого Нэйта Туми, Берте. В девятнадцать лет она вышла замуж, видимо за хорошего человека, сразу принявшего в свою новую семью ее глухонемого брата. Тем горше была утрата Берты, когда всего через год после свадьбы молнией убило ее мужа. После похорон Берта носила только черное. Но смерть, убив в ней женщину, оставила живой душу. Научила еще больше сострадать чужому горю. Тема братства людей в горе, лишь пунктиром намеченная в рассказе "Дочка Хэллоранов" в линии Берты и ее мужа, стала стержнем самого светлого произведения Хилл - повести "В весеннюю пору года" (1974).

В страшных физических муках умирает отданная родственниками в больницу бабка Марты из рассказа "Самервил". И эта смерть имеет неожиданное, глубокое воздействие на души живых. Слишком рано познавшая жизнь, циничная, неизвестно от кого забеременевшая Марта была уверена, что ей будут безразличны болезнь и смерть бабки. Но бабка оказалась единственным существом, не корившим Марту за проступок. И в пустой девушке просыпается жалость...

Непосредственная близость смерти - безобразной, таинственной, существующей в реальной жизни, а не на пожелтевших от времени листках письма Бартона, пробуждает и Самервила. Впервые за много лет он выбирается из своего укрытия и идет взглянуть на умирающую бабку Марты, совершенно чужого ему человека. И хоть он в ужасе бежит из больницы, короста эгоизма дает трещину.

Впервые за долгие годы душа пробуждается от спячки. Самервил уговорил себя, что одиночество - это и есть счастье, что у него есть необходимое и желанное. Но внезапно он видит свое истинное лицо, понимает, что он - плохой человек, и, главное, осознает, что от себя, от нравственной ответственности перед людьми не спрятаться за стенами богатого дома. Самервил обуздал природу в своем идеально ухоженном саду, долго изучал повадки ежа и, наконец, приучил его к себе. А жизнь, не терпящую никакой искусственности, он подчинить своим ложным законам не смог. Она ворвалась в его размеренный быт, приняв облик молоденькой беременной женщины, которая из глубины собственного несчастья сумела докричаться до его оглохшего сердца.

Сьюзен Хилл - писательница слишком суровая и жестокая, чтобы рисовать светлые диккенсовские идиллии торжества добра. Мало что меняется к лучшему в судьбе ее героев. Жизнь оказывается сильнее: она с детства выбивает из-под ног основу, а случай, обернувшись болезнью, несчастьем, коверкает душу, озлобляет, губит. Малыш становится невольным виновником простуды, а потом и смерти мисс Рис, людская молва, конечно, объясняет смерть дочки Хэллоранов дурным глазом гробовщика Нэйта Туми. Не успев родиться, душа Марты сразу же умирает. Обстоятельства оказываются сильнее; стремясь вырваться из капкана своей семьи, Марта убивает ребенка, но гибнет как личность. Вот так вера, точнее, надежда, что можно достучаться в любое сердце, приобретает особый драматизм в трагическом мире Сьюзен Хилл.

Лаконичные рассказы Сьюзен Хилл содержат в себе историю целой человеческой жизни. В этой лишенной какого-либо дидактизма прозе очень важна вся поэтика повествования,

мелодичное, как в музыкальном произведении, сцепление одного эпизода с другим, емкая, обладающая силой символа деталь.

Сьюзен Хилл любит группировать своих персонажей в своеобразные пары, с тем чтобы, столкнув противоположности, маску и лицо, помочь читающему без особого нажима увидеть суть. Вот они - ученый Самервил, суждения которого усвоили многие, и недалекая Марта, кюре Беньяк и убогий Марсель, крысолов Нелсон и глухонемой Нэйт, тетя Спенсер и няня Уззеби. Но к этим парам неприменимы обычные мерки.

Хилл как бы говорит: "Вглядитесь пристальнее. Правда - не на поверхности. Она глубже, там - где сердце". Кюре Беньяк и Марсель. Оказывается, что образованный - невежда, а невежда владеет высшим знанием. В могилу мадам Кюрвейе, единственного человека во всей деревне, видевшего в Марселе живое, ранимое существо, этот несчастный зарывает свою самую дорогую игрушку - четки. Четки в символическом плане приближают Марселя к кюре. Но четки в руках кюре - давно уже только бессмысленная игрушка, стандартный атрибут. Тогда как четки в руках Марселя - знак истинного знания, мудрости души, которая пробуждает в конце рассказа духовно умершего кюре, возвращает ему утраченную гармонию бытия.

А контрасты холода и жары, порядка и буйства природы "Самервила" помогают создать особое внутреннее напряжение в этой строгой прозе, подвести читающего к нужному выводу.

Хотя в книгах Сьюзен Хилл нет броских примет времени, по которым было бы легко реконструировать Англию сегодняшнего дня, им нельзя отказать в значительности. И не только потому, что мастерски написанные, глубоко психологичные повести - лишнее доказательство органичности жанра рассказа для британской послевоенной прозы. В ряду имен первой величины: С. Моэма, В. Притчетта, У. Тревора, Дж. Кэри, Г. Бейтса, А. Кристи, Л. П. Хартли, Л. Даррела - эта молодая писательница занимает достойное место. Но есть и еще одна, не менее важная причина. Сознательно суженные границы книг не мешают Сьюзен Хилл ставить социально и этически точный диагноз "болезни", поразившей ее современников. "Болезнь" - это и одиночество большинства ее героев, и тоска по теплу и взаимопониманию, и эгоизм как смерть души и всего человеческого. Внимание к человеку, забота о его нравственном здоровье, умение сделать обычные, будничные слова такими необычными и нужными - именно эти черты объясняют успех прозы Сьюзен Хилл.

Е. Гениева

Дочка Хэллоранов

Он ел кролика, которого сам убил накануне, старательно обдирал мясо с костей, а потом макал хлеб в темный соленый сок. Мальчишками еще они с братом Нелсоном Туми ставили капканы на кроликов и на разных других зверюшек - ласок, горностаев - ради забавы, просто так и чтоб не отстать от охотника Фарли.

Как-то раз Нэйт один забрел в чащу и увидел олененка в капкане. Он высвободил ему ногу, и олененок заковылял прочь, а из раскромсанной ноги текла кровь и пятнала траву. Нэйт пошел за братом, привел к тому месту и показал пятна.

- Ну, и подохнет он, - сказал Нелсон и вздернул тощие плечи. И впервые Нэйт догадался, какой у него брат - подлый. - От зараженья подохнет. Это же яд.

В ту ночь он плакал, а он почти никогда не плакал, и он встал на рассвете и пошел искать раненого олененка. Он запомнил дрожащую спину, пот на светлом меху, глаза, уже собравшуюся в уголках липкую слизь. Он нашел только кровь, сухую и черную на папоротниках. Она вела к тому месту, где берег ручья обрывался в отвес и было не пройти.

С тех пор он больше не ставил капканов, но брата удержать он не мог, даже если бы мог с

ним заговорить. Брат был очень высокий, руки и ноги у него были длинные, белые, безволосые, и очень острый нос. Он все молчал, таил свою злобу. Из школы он ушел и поступил в ученье к Лэйсу, крысолову, а потом, когда через три года Лэйс умер, дело досталось ему. С тех пор целых сорок восемь лет он каждое утро вставал ровно в семь и уходил из деревни, неся за спиной мешок для крыс, а по пятам бежали два мелких пса. Он ходил в бессменном светлом длинном дождевике и фуражке. Когда пес подышал, он брал взамен точно такого же, и всем в деревне казалось, будто на его спутников пропаду нет. Он и звал их всегда одинаково - Гриф и Нип.

С годами Нелсон Туми стал сутулиться, а перед смертью чуть не вдвое согнулся. Лицо у него стало желтое, пустое.

Когда-то давно Нэйт ходил с ним на Солончак смотреть, как он ловит крыс в амбаре с зерном, и обмирал и томился, глядя на собак - они брюхом и мордами припадали к земле для броска, дожидались команды и, выказав зубы, двумя стрелами рвались вперед, на попрытавшихся крыс. Он запомнил лицо брата, брат стоял в тени не шевелясь, тонкий, белый, важный, как призрак; и он запомнил мозглый дух зерна. Он понял, что Нелсон рад, ему по нутру страшная служба. Его уважали в округе - ловить крыс он умел, и ему платили хорошие деньги, потому что крысы тут были просто беда, их боялись. Нэйта самого ужасали крысы, пока он не сделался совсем взрослый. А брата он так и не отучился бояться, и, когда тот умер, когда его унесли, ему стало даже легче.

Зато Нэйт Туми стрелял кроликов, у него был острый глаз, меткая рука, зверьки умирали сразу, не мучились, и все равно от них вред, им все одно погибать. И шеи сестриним курам он тоже всегда сворачивал. Он только капканов ставить не хотел, капканы ему напоминали про то, что они с братом одной крови.

Мясо мокро плюхалось с кроличьих костей. За едой Нэйту то и дело приходилось прикладывать платок к левому глазу, его саднило, он слезился, с утра в него попал осколок щепы. И когда Берта с ним заговаривала, Нэйт не видел ее лица и не понимал, что она говорит. Он читал у нее по губам лучше, чем у других, схватывал с полуслова, это она первая его выучила, она и писать его научила, она не сердилась на его немоту и глухоту, как отец с матерью, которые злились, не зная, что у него на уме, и все время боялись, что люди скажут. Другой ребенок, тоже мальчик, совсем здоровый, у них умер, и им горько было, что вместо него выжил Нэйт.

Берта Туми ждала. Она всегда ела в одиночку, когда он уже уйдет к себе в плотницкую, и теперь она стояла у кухонного стола и смотрела, как он трет глаза.

- Поранился, что ли?

Она показала ему на глаз.

- Шеп. Ты бы поосторожней. К самому верстаку голову гнешь. Сколько раз тебе говорено.

Он затряс головой, но из глаза текло, пришлось снова вытирать, и она заставила его показать, что там такое. Глаз был весь красный и слезился. Наконец она краешком чистого платка выудила осколок.

- Ты поосторожней давай, Нэйт Туми.

Он ослабилась, закивал. Так у них повелось, она обращалась с ним как с маленьким, хотя знала, что он не дурак, а просто глухонемой. Она всего на два года была его старше, но с тех пор как сама начала ходить, всегда за ним приглядывала, и ближе ее у него не было никого.

Берта Туми носила только черное - длинные юбки, широкие кофты, тяжелые черные башмаки

на больших больных ногах - и потому давно выглядела старухой. Лицо было в морщинах, они появились у нее еще у девушки, но она тогда была хорошенькая, и лицо осталось приятное и сейчас, хоть она затягивала волосы в скучный узел на затылке.

В девятнадцать лет она вышла за Хейла, сына кузнеца на Солончаке, сыграли большую свадьбу, ужин накрыли на длинных неструганых столах, танцевали до заката, а потом Нэйт стал жить с молодыми, сестра сказала, что никогда его не бросит, а Хейл не спорил. Нэйта поселили на чердаке, он помогал в кузне, пока не поступил в подмастерья к Робу Ридди, гробовщику, который снабжал всю округу. И Бертин муж научил Нэйта стрелять. А через год он умер, его убило молнией на Вышнем Поле, и Берта с Нэйтом сразу же вернулись к своим.

Сейчас он смотрел на нее, на широкое, строгое лицо, на лоб в морщинах, крутые скулы. Он не знал, каково ей после смерти мужа, она при нем никогда не плакала, и она ему ничего не говорила. Она нанялась в услуженье в слободку и у матери тоже все хлопотала по дому. Держалась она особняком, по-прежнему приглядывала за Нэйтом. Только она сразу изменилась, в одну ночь постарела, и она носила всегда черное.

Глазу полегчало, он уже не слезился. Нэйт черпнул ложкой крыжовенное варенье, тягучее, липкое.

Берта сказала:

- Хэллораны за доктором послали.

Он положил ложку. Вон оно, значит, что она собиралась ему выложить.

- Больше ничего пока не знаю.

Ягоды застряли у него в горле. Сестра села. Она все поняла. Нэйт затряс головой.

- Доедай. - Но она видела, что есть он не может, и скоро встала и приняла тарелку.

Нэйт подошел к задней двери, толкнул, и солнце окатило ему лицо, утешно, и на него пахнуло ягодными кустами и душистым горошком. В дальнем конце сада копошились рыжие, как белки, куры. Он к ним подошел. Он открыл калитку в ограде, но они подбирали с земли последки Бертино корма и на него даже не взглянули. Солнце пекло, и застыл жаркий воздух. В ушах у Нэйта звенела тишина.

Дочка Хэллоранов. Он уговаривал себя, что это ничего, не страшно, она еще поправится, снова придет к нему в мастерскую, совсем скоро, будет сидеть на верстаке и смотреть, как ходят у него взад-вперед руки, прилаживая дубовую доску. Но кто станет без крайности посылать за доктором? И еще ведь месяца нет, как ее выписали из больницы.

Он посмотрел вниз, на кур.

Берта Туми убрала с кухонного стола, сняла клетчатую, синюю с белым, скатерть и вытряхивала за дверь, а сама смотрела на брата в дальнем углу сада, и старая жалость к нему камнем давила ей сердце, хоть ему было шестьдесят восемь лет, а ей самой скоро семьдесят.

В деревне испокон веков жили Туми, но и Нэйт остался неженатый, и Нелсон-крысолов умер холостой, так что род на них и кончится. Она не хотела ему говорить про дела Хэллоранов, но легче уж было ему от нее узнать, чем от чужого, да и надежды никакой не осталось, все понимали, что дочка у Хэллоранов умрет, и только неизвестно когда.

Больше всего она боялась, как бы он не пошел к Хэллоранам. Это нельзя. Из-за того, что они - Туми, из-за того, как люди про него думают, из-за его ремесла, из-за того, что им тут не

верят.

Он стоял застыв и смотрел на кур, пригнув голову от палящего солнца. Надо бы ему сказать что-то, хоть словечко... Да нет, зачем. Сам все знает. Глухой, немой, а взрослый. Горячий воздух подрагивал и шуршал пучками фольги, насаженной на грядки - отпугивать птиц. Хоть словечко ему сказать.

Но она повернулась и ушла в дом.

Кругом знали, что одного Туми посчитали колдуном, и кто говорил сожгли, кто говорил - утопили. Семье не доверяли, все у них мерли, а когда еще Бертиногу мужа убило молнией, их и вовсе стали обходить стороной. Ребятишки в деревне Берту считали ведьмой, смотрели на нее издали, страшась черной одежды, и по ночам, в жутких снах она им строила козни. Она это знала, привыкла и только еще больше замкнулась. Каково ей, она не рассказывала никому, даже братьям, а им обоим она была верной опорой, заменила мать, и отца, и жену, и они не думали про то, что ей самой может быть трудно.

Нэйта Туми тоже сторонились, но это из-за ремесла, сам он был добрый, безвредный, и никто не судил его за то, что он глухонемой. Правда, странные звуки, хрюканье и клекот, какими он старался изобразить знакомый ему на вид людской смех, пугали ребятишек. Всех, кроме дочки Хэллоранов.

Хэллоранам несладко жилось. У деда еще была земля, дойные коровы, и он сам себя звал фермером. А сыну в наследство оставил больше долгов, чем прибытку, и землю пришлось продать. Артур Хэллоран сразу на все махнул рукой, видя, как бьется отец, семнадцати лет ушел из деревни и подался во флот. Вернулся он с покалеченной ногой, взял в жены Эми Кридик и теперь подряжался где ограду поставить, где снопы вязать, где картошку собрать - за поденную плату. Нрав у него был тяжелый, угрюмый, в деревне его не любили, просто терпели. У них был один ребенок, дочка Дженни. Она с самого рожденья была слабенькая, хвора, к году пошла, но ее почти не держали хилые ножки. В четыре года она заболела ревматизмом и чуть не умерла, и Хэллоран тогда говорил при народе, что оно бы и лучше, разом бы конец, мол, кому нужно увечное дитя, один страх, и сил больше нету из-за нее убиваться. Ей не велели бегать и даже отходить далеко от дома, пяти лет она, правда, пошла в школу, но другие дети с ней обращались как с ломкой куклой и боялись ее тронуть. Она ни с кем не играла, но иногда, когда сидела в классе или, в ясную погоду, возле спортивной площадки, бывало, кто-нибудь из детей жалел ее и нес к ней складную картинку. Но она казалась не такой, как все, будто и не человек, из-за прозрачной кожи, тонкой кости, из-за нежно-синих губ и кругов под глазами. Ни глупая, ни умная, она все молчала. И с ней было скучно.

И вот она стала наведываться к Нэйту Туми в плотницкую на задах у Коукеров. Он с ней не разговаривал, и ей было хорошо, потому что сама она зато говорила с ним больше, чем с другими, и восхищалась тем, как он смотрит прямо ей в лицо, на губы. Она научилась разбирать его клекот, понимала, когда он с ней соглашается, а когда - нет, хоть чаще он просто кивал или тряс головой и улыбался и снова принимался пилить, ладить доску, вбивать гвозди. Если на ее вопрос ответ требовался более подробный, он вынимал толстый плоский плотничий карандаш и старательно писал в своей тетрадке для мерок.

В каникулы она чуть не каждый день к нему заходила. Он угощал ее чаем из термоса, заваренным сестрой, и он к ней привык, ему было с ней хорошо, уютно. Она сидела на верстаке, он ее туда сажал, поднимал на руки, она не весила ничего, как перышко, и он пугался, обхватывая хрупкое тельце тяжелыми ручищами.

Оба больше молчали. Ей нравился запах стружки, нравился ровный шорох рубанка по доске. Зато острый визг электрической пилы ее пугал, она затыкала уши, и в голове у нее звенело, а



Нэйт на нее смотрел и ухмылялся, низко нагнувшись над полотном, ничего не слыша. Но по дрожи, какой дребезг пилы отдавался у него в теле, он старался вообразить ее мученье от этого шума.

Нэйт был гробовщик. Хоть раз на неделе, а кто-нибудь в округе да умирал, и тогда он ехал на велосипеде к дому покойника и почтительно снимал шапку, прежде чем войти, снять мерку и получить распоряженья родных, записанные на листке бумаги. Вид смерти не пугал его, он к ней привык за долгие годы, и она утешала его, он понял, что если дойдешь до такого покоя, тишины - тебе уж ничем не повредить и будет не больно и не страшно.

И когда склонялся над покойником, нежно касаясь его за работой, он вбирал в себя уверенность в воскресении и, воротясь в мастерскую, делал гроб благоговейно и спокойно. Он знал, что владеет ремеслом, и, кончив работу, всегда радовался, и дело свое почитал полезным, хорошим.

Но в то, что смерть заберет Дженни, он не мог поверить, хоть она была такая слабенькая. Он всегда ее любил, им одному в другом все нравилось, и он не мог примириться с тем, что она умрет или - вот уж не приведи Бог - будет мучиться. Снова ему вспоминался тот олененок.

Год назад она заболела тяжелой непонятной болезнью, а потом три раза за два месяца она падала и ломала кости - они стали у нее ломкие, как у птицы, и не срастались, а медленно крошились. Она уже не ходила, даже сесть сама не могла, и мать возила ее по деревне в коляске, а Хэллоран теперь еще больше ее стеснялся. В мастерскую к гробовщику ее не возили.

Нэйт Туми тосковал. Но, поразмыслив у себя над верстаком, он понял, что другого и ждать было нечего и одно чудно - как ее раньше-то к нему пускали. Он - Туми, а всем Туми не верят, хоть из них никто никого не обидел. Но одного Туми посчитали колдуном, а Бертино мужа убило молнией, и Нэйт родился глухонемой. Тут поневоле призадумашься, и в деревне радовались, что дом Туми стоит на отшибе.

И еще Нэйт понимал, что его боятся из-за ремесла, считается, что гробовщика встретить - к смерти и пустить его в дом без надобности накликать беду. А Хэллоран был суеверней других и вечно ждал несчастий, потому что на его семью они так и сыпались.

Дочка Хэллоранов вышла из больницы еще бледнее и худее прежнего, и, когда в хорошую погоду ее возили по деревне, люди обходили ее стороной, видя, что она не жилица. Нэйт как-то встретил ее, идучи домой обедать, и поразился тем, какие тоненькие у нее ножки, какая поникшая шея и мертвый взгляд. Ей-то зачем страдать? Он не мог этого вынести. Дома он дергал бахрому скатерти, ломал пальцы, стоял у двери, уставясь в сад. Берта понимала, что с ним что-то стряслось.

Теперь, когда она посылала его в сад за фасолью и за смородиной, крыжовником, он тяжело брел по тропе и обирал кусты скучно, без радости. А раньше, бывало, ему и напоминать не приходилось. Ягоды сами ждали Берту, блестящие, спелые, в большущих мисках на кухонном столе.

Впервые в жизни он обиделся на свою долю, позавидовал тем, кто слышит, кто болтает; ему стало горько. Зачем он родился в такой семье? Почему девочка болеет и ее к нему не пускают? Что он сделал, чем заслужил такое?

В тот день, когда сестра сказала ему про доктора, ему стало страшно идти в мастерскую, оставаться там одному. Но умер старый Барт, работник Фейзов, похороны назначили на среду, а он еще не кончил гроб. Нэйт позавидовал Барту, который был на год его моложе, смерть вдруг показалась ему завидной, показалось, что Барту хорошо, а в этом мире немногим есть толк оставаться. Жизнь ему надоела. Он измаялся.

Когда обтесывал гроб, он, как и боялась сестра, надумал пойти к Хэллоранам, повидать ее сейчас, пока живая, пока может с ним разговаривать. Он увидит, как у нее шевелятся губы, и утешится, и еще ему хотелось убедиться, что ей не больно и что для нее ничего не жалеют. Он работал, а в голове была только она, и он работал невнимательно, руку не радовали гладкость досок и холодок гвоздей. В Барте было шесть с половиной футов росту, и гроб на верстаке получался очень большой.

Он отворил дверь, и луч солнца упал на бледные кудерьки опилок, согрел спину - в другой бы день он обрадовался, солнце всегда его утешало. Но сейчас он больше не мог. Надо было пойти к Дженни. В двадцать минут четвертого он отложил пилу, снял с крюка шапку, обмахнул с нее пыль и вышел.

На жаре пеклась мостовая. Он шел по деревне и никого не встречал, шел один, высокий, нескладный, нагнув голову, а в голове билась тишина.

Он подошел к двери, взялся за дверной молоток и отдернул руку. Никто его не видел. Садик у крыльца зарос, петунии и левкои глушил чертополох. Хэллоран совсем отчаялся.

Из-за своей немоты Нэйт вспотел от страха, что они не поймут, зачем он пришел, не впустят. Он заглянул в верхнее окошко. Там замерли тюлевые занавески. Тощий темный кот смотрел на него через поломанную ограду.

Он не мог повернуться и уйти к себе в мастерскую, не повидав ее.

Он уже перестал стучать, и тут Эмми Хэллоран подошла к двери, чуть приоткрыла ее и выглянула. Она увидела Нэйта, и лицо у нее дернулось, а потом натянулось и стало не то испуганное, не то недовольное, непонятно. Она была еще не старая, ей и сорока не стукнуло, а на вид - старуха, в волосах седина, и от носа ко рту на широком лице две глубокие складки. Нэйт снял шапку и крутил, мял в руках.

- Нэйт Туми...

Он улыбался. Ему было очень жарко, он глотал воздух, а в него набилась пыль и густой цветочный запах.

- Она в постели. Болит она. Доктор приходил.

Он кивнул и ткнул в глубь дома, а потом на себя. Она мешкала, думала, и он видел, как на лицо ее облаками набегают, гонят друг друга подозренье, усталость, забота. Он никогда еще так не маялся от своей немоты. Если б умел говорить, он бы ее успокоил. Только б она его не боялась.

Но все же она впустила его, тихо отворила дверь и повела по темной лестнице. Сперва по ковру, а дальше по голым доскам. Пахнуло несвежей едой и еще чем-то, лекарствами, дезинфекцией. Он понял, что она уже жалеет, зачем его впустила.

Он увидал девочку, и у него упало сердце. Она лежала на железной кровати вся исхудалая, кожа да кости, и кожа натянулась и светилась. Глаза очень блестели, но тоже стали мертвые, жизни в ней совсем не осталось. Он глянул на ее руку на простыне. Рука была как птичья лапка.

- Смотри-ка, твой друг.

Нэйт переминался с ноги на ногу, мял шапку и удерживал слезы. Губы у нее шевелились, совсем белые, тонкие, сухие и совсем прозрачные, как пленка на коконе.

- Ко мне доктор приходил.

Он кивнул, чтоб ее подбодрить. Пока она с ним говорит, она живая и есть еще надежда. Эмми Хэллоран стояла у двери, не шевелилась и пустым взглядом смотрела на дочку. Она, видно, так устала, что уже и тревожиться не могла.

- Я к морю поеду. Потом. На каникулы.

Но она и сама в это не верила, не иначе она знала правду. Она повернула голову к окну и долго молчала, и он даже испугался, не умерла ли она. У него вспотели ладони. В комнате была жуткая жара.

- Хочешь мне что-то сделать? Игрушку?

Он иной раз мастерил ей из отходов то люльку, то птичку, правда, не бог весть как, он не мастак был на тонкую работу. А ей все равно нравилось. Он закивал и сложил руки лодочкой и стал смотреть ей в глаза, чтоб она поняла. Она нахмурилась. Потом вдруг закашлялась, зашлась, лицо сморщилось от боли, кожа обтянула косточки, и мать к ней подошла, подняла и стала щупать щеки и лоб. У нее были тускло-лиловатые веки.

- Нагляделся, Нэйт Туми? Может, хватит с тебя?

Нэйт сразу повернулся и вышел. У него горело лицо. Но когда он уже спустился, открылась входная дверь, и на пороге стоял Хэллоран, а в дверном проеме за ним, как в раме, блестел солнечный сад.

Нэйту показалось, что сейчас он его ударит. Хэллоран покраснел, сжал кулаки. А потом Нэйт понял, что подумал Хэллоран: она умерла, не то зачем же быть тут гробовщику, на лестнице, которая ведет к ней в комнату. Нэйт протянул руку к плечу Хэллорана, закивал, заулыбался, всем видом показывая: "Я у ней был, она со мной говорила. Я у ней был. Она живая, живая".

Хэллоран шагнул к лестнице. Стал. Глянул вверх - и увидел жену. Трое молча застыли. Горячий воздух дрожащими венчиками сиял над пестрыми клумбами.

И вот Хэллоран заорал, Нэйт только видел ярость, видел, как разевается рот, как дрожат губы, - он не разбирал слов.

- Гони его взашей. Зачем впустила, зачем пожаловал? Что я тебе говорил? Нельзя ему к ней. Не верю я им. Зачем ты впустила в дом Туми?

Он обернулся. Нэйт уже шагнул к калитке. Пчелы кружили над левкоями, и он видел их, но как они жужжат, догадаться не мог. Сердце у него бухало, но не из-за злости Хэллорана. Он терзался стыдом, тем, что вот он идет по саду, здоровый, крепкий, а она умирает.

Громко захлопнули входную дверь.

Он не мог работать, он весь трясся, голова кружилась, оттого что он видел ее и она такая, и он побрел из деревни прочь, к Солончаку, мимо живых оград, низко, до самой травы, повитых вьюнками. Коровы все улеглись, и над их тяжелыми головами плясали под деревьями мухи. У него саднило горло, болела грудь, он задыхался. Он знал, что больше он ее не увидит.

Он не мог ужинать, выпил только две кружки сладкого чая, а мясо, пирог и картошку оставил. Ему хотелось вскочить, бить кулаками, в нем закипало бешенство против своей немоты, своей беды.

Он засучил рукава и пошел в глубь сада, к курам, схватил одну и удержал на весу сумасшедший всполох крыльев и лапок. Берта Туми в дверях кухни молча смотрела, как он сворачивает птице шею. Она все поняла, и она ничего не могла тут поделать, она только увидела то же бешенство, какое бывало еще у брата. Вообще-то Нэйт другой, терпеливый,

добрый и птицу убил мигом, чтобы не больно. Но все же он озверел, такого она его никогда не видала. Он принес на кухню мертвую птицу, держа за лапки, и Берта велела положить ее в мойку, чтоб завтра, когда остынет, общипать.

- Ты бы поел.

Он затряс головой, и тоска замутила ему глаза. Он снова вышел с ружьем и стрелял ворон, и соек, и голубей на полях У Фейзов и дальше, в лесу, пока совсем не стемнело, и сегодня, как всегда, он стрелял метко, хотя ему приходилось изо всех сил сжимать ружье, унимая в руках дрожь. Он сам себе был тошен, но стрелял и стрелял, чтоб одолеть злобу и горечь. Ружье палило, а он только видел дымок, и палец соскакивал с курка. И где-то плюхалась птица - бесшумно, бесшумно.

На западе, над лесопосадками, уже расплзалась по небу темная, как сливовый сок, клякса. И сладко запахло.

Он расстрелял всю дробь и пошел домой, руки и ноги болели, в голове было пусто. Злость у него прошла. И вообще ничего не осталось. Он надкусил кусок пирога, который сестра оставила ему под салфеткой, но ему сжало горло, и все пришлось выплюнуть. Сухие глаза болели, если бы он заплакал, ему стало бы легче, а слезы не шли, он лежал на кровати и смотрел в темноту, и он вспоминал ее.

Он проснулся не сразу, медленно, и, когда открыл глаза, увидел, что в комнате стоит белый лунный тихий свет. И он понял. Его разбудила ее смерть. Он лежал, и его наполнял покой, будто он выздоровел от долгой горячки.

Протянуть руку - и он бы ее тронул. Только б он мог с ней заговорить она бы ответила. Он про нее думал, и она все равно была с ним. Хорошо, что отмучилась. Вчера ей вроде не было больно, просто ослабела, устала.

Нэйт уже не раз чуял смерть. Когда Нелсон, брат, умер тогда в больнице в Гарстоне, Нэйт как раз выбирал для двери попу доски, и вдруг он все понял про брата, которого любил и ненавидел, чтил и боялся, и на другой день он пошел в больницу, и ему сказали, когда умер брат, и оказалось - он умер точно в тот час.

Теперь он встал и подошел к окну. Ему в лицо пахнуло левкоями. Высоко над лесом плыл месяц. От новой смерти притихла ночь.

Вот он стрелял птиц, сворачивал шеи курам, и все потому, что в нем кипела ярость. Стрелять было незачем. Он вел себя плохо. Но теперь - девочка тут, а то все кончилось, больше так стрелять он не станет. Зло с него сошло.

И он заснул.

За ним прислали спозаранок, а он их боялся и, когда увидел их у двери, понял, как они ненавидят его и винят. Хэллоран, весь красный от гнева и слез, вонзил глаза в Нэйта Туми.

- Иди. Делай свое дело. Давай.

Опять он пошел за Эмми Хэллоран по ступенькам. Наверху она оглянулась,дохнула ему в лицо:

- Вот. Ругается. Говорит, зачем тебя впустила. Он не велел. Нэйт стоял тихо. Он понимал ее беду и упрек, и ему хотелось объяснить ей, что так лучше и это не страшно, что умерла ее дочка. Он ничего не мог тут поделать, он ничего не мог сказать.

Он думал, что, когда увидит ее мертвую, ему тоже станет обидно и горько, а ему стало легко.

Так он и знал. Ей теперь все равно. Сквозь кожу просвечивали жалкие косточки, у нее был совсем маленький размер. Лицо застыло и не страдало, а гладкий лоб сиял, как шелк. Больше она не придет к нему в мастерскую, но это не страшно, он был с ней, когда она умирала, а больше ему ничего не надо, больше он не заслужил.

Зато он жалел отца с матерью, жалел Эмми, она стояла в ногах постели и ломала пальцы, и Хэллорана он жалел, тот не понял, не принял. Почему же у самого-то у Нэйта на душе другое? Просто он понял правду.

Он снял мерку, отложил карандаш и тетрадку, посмотрел снова на тело и загрохал вниз по ступеням.

Хэллоран ждал его на дорожке, у него распухли, покраснели глаза, ходили челюсти.

Он сказал:

- Заявился. Смерть нам принес. Пришел и убил. Ты...

Нэйт смотрел на него и даже головой качнуть не мог. Так он и знал. Он же Туми, гробовщик. Его не любят, ему не верят.

- Ты...

Подросла Эмми Хэллоран и схватила мужа за руку.

- Все ты...

Глаза у него бегали от муки и ярости, он метнулся вперед и всадил кулак Нэйту Туми в лицо. Нэйта ударило, как молнией. Он повалился, в голове все плыло, глаза застлала кровь. Он упал и как будто только и ждал этого за свою вчерашнюю злобу, за птиц, которых он так ужасно, бешено лишил жизни, и чуть не с облегчением он ощутил касанье земли, и его ножом полоснула боль.

Он лежал, кажется, ужасно долго, а потом медленно поднялся на ноги, ладонью отер кровь с лица и увидел, что он один, Хэллораны ушли в дом и его оставили. У него разламывалась голова. Но он успокоился. Так ему и надо, все по заслугам, раз он любил ее и знал, когда она умерла, раз он - Туми и он калека. Чего еще ждать от Хэллорана, ведь тот от горя сам не свой. Хэллоран не виноват.

Сияло солнце и бросало Нэйту за спину тень, густую и темную на светлом. Очень медленно он побрел в плотницкую тесать гробик; один на один со своей тишиной.

Человек-слон

Знакомый няни Фосет появился в тот самый день, когда в первый раз за сорок лет высушили Круглый Пруд. И потом она при Вильяме больше никак его не называла. Так он и остался "Мой знакомый".

Вильям расспрашивал насчет пруда, он беспокоился, на что он теперь будет похож и какой величины он теперь будет.

- Такой же, как раньше. Что за глупый вопрос.

- И в нем не будет нисколько воды?

- Так не говорят. Говорят "в нем совсем не будет воды".

- Ага. А яма большая будет?

- Яма? Какая еще яма? Подыми-ка руки.

Мыльная пена закапала из-за ушей вниз, ему на грудь. По краям ванны, когда шевелилась вода, толкалась серая накипь. Он старался представить себе Круглый Пруд, к которому ходил каждый день, совершенно пустым, без воды и без водной зыби посередке, но у него ничего не получилось, он ничего не мог вообразить, и его мучила неизвестность.

- Ну, ямы не будет, а что будет?

Няня нагнулась, и в ванну из подобранных рыжих волос плюхнулась заколка.

- Грязь будет. Встань-ка. - Над верхней губой у нее выступили рядом капли пота. Она поскорей выудила заколку. Он испугался, как бы на нее опять не нашло, находило всегда ни с того ни с сего, и тогда в комнатах делалось душно и противно дышать. Поэтому он не спросил, куда денутся утки. Просто он представил себе уток, каждую в отдельной клетке, без воды; сторожа будут кормить их хлебными крошками, а потом за перепончатые розовые лапки уток подвешат к рейке в магазине Мерчисона "Мясо-птица".

Няня Фосет уже терла его очень сухим полотенцем.

Сперва у него была другая няня, он запомнил только ее запах, усталое лицо и тоску, которая от нее шла. "Я воспитана в старых правилах, - объявила она, когда приехала, - я привыкла к самым лучшим домам".

И она настояла на том, чтоб в воспитание никто не вмешивался, чтоб из его меню полностью исключили сладкое, чтоб прогнали уборщицу, которая ругалась скверными словами.

- Зато она решительная и на нее можно положиться, - говорила мама Вильяма, потягивая сигарету в жемчужно-серой гостиной. - С ней так легко, так удобно.

Правда, честно говоря, мама чувствовала себя даже как-то виновато, она побаивалась, что няня, с которой все идет гладко, - это что-то не то. И когда та няня вдруг умерла и пришлось подыскивать новую, она почти с облегчением вздохнула. Вильяму тогда было три с половиной года.

Теперь он уже не помнил, что было до того, как в доме появилась няня Фосет. Он видел все ее глазами, все, что знал, он знал от нее. Няня Фосет была ирландка, ей было тридцать пять лет, она родилась в Дублине, в честной протестантской семье, на нее находило. За чересчур пышными грудями пряталось у нее нетерпимое сердце, особенно нетерпимое к мужчинам и к республике Эйре.

Мама Вильяма целый месяц тревожилась.

- Надеюсь, мы поступили правильно, кажется, она подходящая, хотя всем известно, няни теперь вообще уж не те. Боюсь только, как бы волосы у нее не оказались крашеные. Цвет неестественно рыжий.

Мама говорила, как говорили в старину, но она не была старомодной, просто ее так воспитали. Она говорила тоненько, в нос, она немного бляела. С няней Фосет ей стало гораздо спокойней, наконец-то она почувствовала себя хозяйкой своего дома, своего ребенка. А чудит - так ведь чего же от них и ждать.

Они поехали в гости к бабушке на Кэдоган-сквер, бабушка сидела среди бахромчатых кресел, сильно напудренная. Она спросила:

- Ну, а как там эта твоя няня Фосет?

- Но ты же знаешь, - ответила мама. - Все хорошо. Все будет в порядке, теперь я спокойна. Я бы не доверила Вильяма первой встречной.

На этом тревоги кончились, и благополучие Вильяма перешло в ведение няни Фосет.

Все, в чем он был твердо уверен, все, что он ясно понимал, исходило от няни Фосет. Прочее были чуждые земли, в которые он вступал с мамой, отцом, бабушкой с Кэдоган-сквера, - земли странные, ненадежные. Он бы там просто не выжил. От няни Фосет он узнал, что "ирландец ирландцу рознь", что протестанты из хороших семей в Дублине держатся сами по себе, у них свои клубы, танцзалы и школы.

- Опытная няня, - говорила много раз няня Фосет, - не служанка какая-нибудь. Это профессия. Ты не думай, я вам не прислуга.

Он узнал, что в Дублине разрушают старинные особняки, что бессовестные южные ирландцы, католики и рабочие, уезжают в Англию и там только срамят свою родную страну. Он узнал про нахальные ухватки бесстыжих девок, которые работают официантками в лондонских кафе и кондукторами пригородных автобусов. Он узнал про бескорыстную партию юнионистов и про то, как разлютовались в республике Эйре пасторы-фанатики и как там худо крестьянам. Он узнал, что бабушка няни Фосет разводила ирландских сеттеров и что семья у них испокон веков была гордая. А главное - он узнал, что большинство неприятностей на свете, а у женщин так даже все неприятности, идет от мужчин.

- Сам мужчиной будешь, - сказала она, вешая на спинку стула клетчатую рубашечку, - и будешь как все, не лучше других.

Тут уж он усомнился, он понял, что мирные дни с ней для него сочтены. Он призадумался о том, как бы вырасти и не стать мужчиной, не делить общую мужскую вину. Он засомневался в расположении няни, в ее добром мнении. Ее глаза, чуть раскосые, как у японки, порхали по нему и не успокаивали, лишь небрежно, походя одобряли за то, что воспитанно себя вел или делал все, как она велела. Он мечтал к ней подлизаться, задобрить раз и навсегда, заработать ее похвалу. Но глаза скользили по нему, и он отчаивался. Ему удавалось лишь на час, на день заручиться ее милостью. Он жил от просвета к просвету. Он, как по камешкам, перебежал над черной бурлящей водой, потому что на няню Фосет находило.

И вот он ужасно удивился в тот день, когда они первый раз увидели ее знакомого. Был январь, мокрая пороша, холодный ветер рвался из-за стволов прямо им под ноги. Взбираясь вслед за няней по склону, он поотстал, он боялся, потому что не знал, как это будет, когда он увидит вдруг совсем другой пруд, совсем непохожий.

- Не оббивай ботинки, только на той неделе новые куплены.

Волосы сегодня сверкали у нее больше обычного, рыжие-рыжие, и особенно аккуратно были уложены кудерьками и заколоты под темно-синей шляпкой.

- Веди себя хорошо, не приставай, будь умницей.

- Почему?

- Потому что мы сегодня кое-кого увидим. Вот почему. И без свитера сегодня нельзя, нельзя в одном пальтеце, ветер просто с ног сшибает.

Он гадал, кто бы это мог быть, кого же это они увидят. Вряд ли это другие няни, к которым она иногда присаживается на зеленую скамейку, правда, она с ними редко заговаривает, вообще-то чаще держится в стороне. От них, она ему объяснила, слова умного не добьешься, или они нос дерут, или дети у них - не поймешь что.

- А кого мы увидим?

- Ишь какой, погоди, узнаешь. Да и ты не дергай меня своими вечными вопросами, не мешайся и не заводи свое "хочу, не хочу"! Нам с моим знакомым небось тоже охота спокойно отдохнуть и поговорить.

Он понял, что ему ни за что не представить себе знакомого няни Фосет. Дойдя по склону до верха, он шагнул еще шажок и замер. Пруд был громадный, тянулся и тянулся, утратив воду, он стал такой большой, что до того берега не дойти, туда почти не долетал взгляд. Грязь, густая, плотная, застыла тонкими заплесками от середины к краям, будто вода свернулась, как молоко. Он увидел лодки, они осели в грязь и потеряли очертанья. Наверное, они тут были давно, когда его еще на свете не было, наверное, они тут были всегда.

- Ну, чего ты стал, грязь одна и заразы полно, не сомневаюсь, и ничего нет интересного.

Но он не мог оторвать взгляд от пруда, от воронок и ям, от веток и зацепившихся за них лодок, ему хотелось спуститься туда, брести, рыть и копать, дойти до середки, где никто его не достанет, даже те люди с длинными крюками на палках, которыми они иногда, в безветрие, выталкивали на воду лодки.

Няня Фосет схватила его за руку.

- Я кому сказала?

Он пошел за ней прочь от пруда, в ту сторону, где у кромки деревьев стояла эстрада.

Долго никто не приходил. Он ушел от нее и забрел за дикие каштаны, вороша ногами листья. Он нашел почти совсем прямой прутик и поднял его, как копье. Детей тут не было, только женщина в зеленом пальто гуляла с собакой. Сегодня все с самого начала было по-другому, совсем другое место, а не тот сад, куда он ходил бегать, кататься на лодке под присмотром няни Фосет. Все изменилось, стало другого цвета, деревья стали на себя непохожи. Пруд высох. Они будто попали в небывалую страну. И от этого было весело и страшно.

Издали, из-за оплетенной аллеи, неслись крики мальчишек, тоненькие и слабые на ветру. Он снова принялся раскапывать листья своим прямым прутиком.

Подняв глаза, он увидел, что няня Фосет уже не одна. Они сидели рядом перед пустой эстрадой, и няня Фосет все поправляла кудерьки под темно-синей шляпкой. Вильям подождал немного, потом подошел. То, что у няни Фосет оказался знакомый - мужчина, завершало сегодняшнюю небывальщину, все его понятия вдруг спутались, сорвались с мест, он уже ничего не мог разобрать в людях, в мире, раз няня Фосет, которая так презирала мужчин, могла ласково, внимательно разговаривать со своим знакомым на виду у всех на зеленой скамейке.

Вильям сразу заметил, что тот оделся как будто с чужого плеча, как будто всегда он ходит иначе. Хотя вещи на нем были самые что ни на есть обыкновенные - серое пальто, длинное, серые брюки и ярко-желтый шарф. И само лицо, форма головы и скул будто не подходили ко всему остальному - как в игре в чепуху, когда двигаешь головы и ладишь их к туловищам и ни одна не подходит. В лице что-то все время менялось, будто он примерял выраженья поиграет и бросит: он смеялся, гримасничал, хмурился, морщил губы, кожа у него на лбу ходила ходуном под уступом редящих волос, а шея была дряблая.

Наверное, он был старый - или не очень, как-то не поймешь. У него были длиннющие зубы, малюсенький подбородок и белые-белые голые руки.

Он поворошил прутиком траву, и няня Фосет его заметила.



- Поди-ка сюда и не заходи далеко за деревья, нельзя. Иди-ка сюда. Это он, это Вильям, стой прямо, детка, не горбись. Ну, а это - про кого тебе было сказано. - Она говорила быстрее, чем всегда, и все поправляла кудерьки под шляпкой.

Вильям шагнул к скамейке, а знакомый наклонился вперед, протянул свою белую руку и улыбнулся во весь рот, будто это ужасно смешно, что их знакомят по всем правилам. Вильям подумал - нет, он не очень старый, но он старше папы - и сказал:

- Из Круглого Пруда всю воду выкачали. Одна грязь осталась.

- О-о! - сказал знакомый няни Фосет, и снова лицо у него изменилось, стало таинственное, и он спрятал язык за щеку и причмокнул, будто конфету сосет. - А ты хотел небось на лодочке кататься, да? Вон беда-то какая.

- Нет, я не хотел. Я люблю, когда он пустой. Пусть всегда такой будет. А лодки утонули, их видно. И ветки видно. И...

- Ну ступай, - сказала няня Фосет. Она вдруг рассердилась. - Не болтай глупости, ступай побегай, только далеко за деревья не забирайся, слышал?

Он увидел, как она повернулась и села лицом к знакомому, увидел, какое веселое и внимательное стало у нее лицо, будто сейчас знакомый расскажет ей что-то ужасно интересное. Тот сидел к нему спиной, так что он видел только темно-серое пальто и полоску желтого шарфа.

Разочарованный их внезапным охлаждением, Вильям побрел по тропке под деревьями. Руки замерзли в шерстяных варежках. Он мечтал, чтоб что-нибудь случилось и день стал бы опять как все дни. У него над головой и всюду над далью небо висело ровно, тусклое и серое, как мозги. Женщина в зеленом пальто ушла со своей собакой, все уходило от январского ветра.

Он нашел каштан, и хоть зеленая сочная коробочка помялась, а колючки сгнили, внутри сидел отличный орешек, яркий, твердый и полированный, как стол красного дерева, - настоящий желудечек для игры. Он выковырял его и держал в руке - гладкий, блестящий. Он раскапывал листья, и от мха и земли из-под низу шла холодная сладкая вонь.

Он ничего не слышал и вдруг увидел совсем рядом ноги. Очень медленно он распрямылся, держа прутик, как копье. Это оказался кто-то чужой. Вильям обернулся за поддержкой к няне Фосет, которая сидела на садовой скамеечке со своим знакомым. Они на него не смотрели.

- Хорошо, - сказал чужой. - Как хорошо. - Глаза у него глядели остро, но пусто, и у него была большущая голова. Вильям попятился. - Могу тебе еще дать. Могу тебе много-много дать, - и вдруг рука вытянулась из-под плаща, и на ладони лежало не то семь, не то восемь желудечков, больших, блестящих. Хочешь, все бери.

- Спасибо. У меня свой есть. - Вильям боялся, что не совсем вежливо ответил. Его тронуло великодушное предложенье, но было неудобно и хотелось, чтоб тот поскорей ушел. Он опять взглянул ему на ладонь, и желудечков как не бывало. И сама рука тоже скрылась в кармане плаща, так что Вильям даже засомневался, видел он эти желудечки или нет, а незнакомец улыбался. Твердый воротничок рубашки сверкал, как снег.

- Как тебя зовут?

- Вильям.

- Вот это хорошо. Вот это мне нравится.

Ветер врубился в деревья, растревожил сухую листву, с грохотом скинул вниз мертвую ветку.

Ни с того ни с сего незнакомец повернулся и пошел прочь, скользя меж серых стволов, пока не исчез так же внезапно, как исчезли желудочки. Вильям стоял и соображал, как тот вообще появился. Свою находку он сунул в карман и покрепче зажал в руке.

"Ах, уж эти мне мужчины, - так говорила няня Фосет, - от них вечно жди подвоха, им веры нет".

Ему стало обидно и горько, что она бросила его тут с каким-то чужим, который чуть не подарил ему желуди, а сама преспокойно разговаривает со своим знакомым.

По дороге домой он спросил, увидят ли они его снова.

- Может, да, а может, нет. И все тебе надо знать, ах, какой любопытный.

Они шли быстро, все уже уходило из сада, уходило по бетонным скатам, к чаю, было чересчур холодно, потому и не падал снег, так она ему объяснила, и он совсем запыхался, поспевая за ней.

- Увидим - не увидим, мало ли. А может, мы увидим его еще в одном местечке.

- Где? В каком?

Ответа не последовало.

- А он на работу не ходит?

Няня Фосет вскинулась:

- Конечно, ходит, все порядочные люди на работу ходят. За кого это ты меня принимаешь? Ну неужели я стану якшаться с бездельником, лоботрясом?

- Нет, - сказал Вильям.

- Может, мы еще увидим его на работе... Да, увидим, и ты не пожалеешь!

- А что он делает?

- Ну! Тебе ни за что не угадать! - Няня Фосет схватила его за руку, и они перешли дорогу у Кенсингтон-Гор. - Ты про такое и не слыхал, ты прямо не представляешь!

- Ой, ну скажи. Скажи!

- Сам узнаешь. Имей терпенье.

Лицо у нее покраснелось на ветру. Он не решался спросить, чем ее знакомый не такой, как все, что в нем такого особенного, как ему удалось избежать общего для всех мужчин приговора. С виду-то он как все. Но, может, еще удастся выведать у него, в чем тут хитрость, если они еще увидятся, надо будет посмотреть, послушать и разгадать причину снисхожденья няни Фосет.

Чай ему дали в жемчужно-серой гостиной, с абрикосовым датским пирожным, которое принесла бабушка с Кэдоган-сквера.

- Сегодня в парк не идем, идем в другое место, это будет сюрприз.

На него надели лучшие брюки и белую рубашку. Мама ушла.

- Только, чур, ни гу-гу, - сказала няня Фосет. Он не знал, что это будет, боялся спрашивать.

Они остановились возле гостиницы. Няня Фосет нагнулась к нему.

- Тебе будет весело, - сказала она и подержала его за руку, чтоб до него лучше дошло. - Только не капризничай. Делай, что тебе скажет мой знакомый, и помни, что тебе повезло!

Он поднял на нее глаза, готовый ко всему. Няня Фосет расхохоталась.

- Опять глаза на мокром месте! - сказала она. - Горе ты мое. Мы на праздник идем, понял?

Они поднялись по широким белым мраморным ступеням гостиницы, вошли через крутящуюся дверь, и внутри было полутемно, мягко светились лампы, и ковры на полу были розовые. Няня Фосет крепко держала его за руку. Только через несколько минут появился ее знакомый. Выглядел он еще чудней, чем раньше, с залезанными волосами, в жилетке, будто он только что работал на лесах или его только что разбудили. Вильям подумал, что он, может, живет в гостинице, а может, и нет. Он состроил рожу, все лицо собрал к носу, а потом оно снова распустилось, опало, как кучка золы. Он ласково поглядел на няню Фосет.

- Ну, - сказал он. - Все готово, в порядке.

- Не хватало, чтоб не в порядке было, - сказала няня Фосет.

Он от смеха взвыл по-ослиному и показал все свои длинные зубы.

- Мы-то небось черным ходом не пошли, - сказала няня Фосет.

Нянин знакомый вытянул руку, ущипнул Вильяма за щеку и стал приплясывать на цыпочках.

Потом он сказал:

- Время поджидает, пора действовать, пристроить этого и так далее. Ну... - и он подмигнул.

- Иди, - няня Фосет подтолкнула Вильяма в спину. - И веди себя хорошо, я буду тут, а потом тебя заберу, понял?

Нянин знакомый помахал рукой, показал на пустой холл, где стояли кресла, зеленые с золотом.

- Можно уютно посидеть, - сказал он, - чайку попить. Как? Ну, пошли наверх. Я скоро спущусь.

Он взял Вильяма за руку.

Он-то думал, что наверху все двери ведут только в номера, но когда они свернули направо, там оказались бежевые колонны и огромные фикусы, зеркала в золотых рамах, и они прошли в другой холл.

- Ну, сейчас развлечемся? - спросил знакомый.

Вильям насупился.

- Да ты и разговаривать не умеешь? Язычок проглотил?

Он ужасно на него покосился, и резиновое лицо сжалось, покраснело, а потом его вспорола усмешка и все опять переменялось. Вильям подумал: интересно, когда он спит, лицо у него меняется или нет?

- А куда мы идем?

Они остановились. Знакомый легонько похлопал его по спине.

- В гости. На праздник. Ясно?

- А-а. К вам в гости?

- Нет.

Впереди, выпустив шум голосов, распахнулась дверь.

- От тебя ничего не требуется, только глупостей не болтай, веди себя хорошо, играйся.

Больше он ничего ему не объяснил.

На рождество он ходил на четыре праздника, только не в гостиницу, и каждый раз он мучился и молился, чтоб больше не было праздников. И вот из-за спины няниного знакомого он заглянул в зал, и там толпились чужие дети, в лентах, тюле и бархате, в белых рубашках, клетчатых галстучках, и ему свело живот от страха. Мало ли зачем его сюда привели.

- О, вот это хорошо, просто чудесно! - сказала женщина в лиловом, наклоняясь над ним. - Просто прекрасно! Мы тебя ждали. - И она повернулась к другой, рядом. - Ребенок нашего затейника! - сказала она, и обе засмеялись, а потом стали смотреть, кому бы его поручить. - Его зовут Вильям, - сказала она.

Он-то думал, что на праздниках всегда встречаешь одних и тех же людей: кузину Софи, двойняшек Крессетов и толстого Майкла, а тут он никого не знал и стеснялся и не мог с ними играть.

- Нам велели тебя не обижать, - сказал один мальчик.

Вильям стоял, думал про то, как няня Фосет и знакомый где-то в самом низу застланной ковром лестницы пьют в пустом холле чай.

Потом праздник оказался как праздник, все было как всегда, те же ужасы, жутко невкусный чай и бисквиты в воощеных коробочках, большие девчонки постарше, которые вечно пялят на человека глаза. Были игры, в которых он проигрывал, были танцы, для которых он не захватил лакированных туфелек. Женщина в лиловом хохотала, хлопала в ладоши, меняла пластинки, а время от времени она брала его за руку и подводила к остальным:

- Не забывайте этого малыша, не обижайте Вильяма, слышите?

А потом вдруг официант задернул занавески и все очутились рядом на ковре и повизгивали от нетерпенья. Заиграла музыка. Господи, сделай так, чтоб это был не волшебник, только не волшебник и не Панч и Джуди, и Вильям крепко-крепко сжал кулаки и чуть не до крови всадил в ладошки ногти. Но это был не волшебник, а что-то, чего он никогда не видел и еще хуже.

Часть зала впереди осветили, как сцену, и там поставили высокий стул. И вот из тьмы с грохотом вышел кто-то. От плеч книзу он был человек, закутанный в полотно, и полотно колыхалось, как на лошадях, которых показывают в театре. Только он стоял всего на двух ногах, и ноги были в три раза, в десять раз длиннее человеческих и не гнулись. А на плечах сидела огромная голова, не человечья голова, а слоновья, и кивала, и моталась, и кланялась под музыку, и махала отвратительным хоботом.

Вильям жмурился, он хотел, чтоб это поскорее кончилось, чтоб снова раздвинули занавески и в окна хлынул обыкновенный зимний свет. Но музыка продолжалась, а когда кончилась, Человек-слон заговорил и запел низким, искореженным, гулким голосом, и голос гудел в громадной голове. Вильям открыл глаза, он не хотел, но он не мог себя пересилить, не мог

оторвать глаз от светлого квадрата и качающегося слона. Тот плясал, неуклюже ставил огромные ноги, хлопал в ладоши и кивал головой. Потом вытащил откуда-то яркое чучело попугая, посадил на плечо, и попугай стал тоже шутить жутким, скрипучим голосом. Потом опять заиграла музыка.

- Ну, ребята, давайте все вместе спляшем. Как? Хотите?

- Хотим! - все закричали хором. - Хотим!

И захлопали в ладоши и запрыгали.

- А кто хочет ко мне на плечи сесть? А я его подыму аж до неба! Как? Кто хочет?

- Я! - все завизжали. - Я! Я!

И бросились к нему, и захохотали, и стали хватать его за ноги.

Пластинка заиграла конгу, и Человек-слон пустился в пляс по залу, а все за ним цепочкой, и одного за другим он поднимал высоко-высоко, к себе на огромные плечи, и они блаженно раскачивались, и доставали руками до потолка, и качали люстру. Вильям забился в темный уголок и молился, чтоб его не заметили, но вот цепочка дошла до него, его заметили, женщина в лиловом завохтала, взяла его за руку, поставила в ряд, так что ему пришлось скакать сперва на одной ноге, а после на другой - под музыку. А потом вдруг его настиг Человек-слон и поднял, вмял пальцы ему в бока, он не мог ни кричать, ни плакать, ни вырваться, он еле дышал и дрыгался без толку под самым бежевым потолком, а внизу, далеко, были задранные хохочущие лица, и оттуда летела музыка. В прорези слоновьей морды он увидел глаза, они блестели, как огоньки внутри тыквы, и у него закружилась голова, ему стало невмоготу.

Потом не сразу включили свет, и он выскользнул за дверь, никто его не заметил.

В коридорах стояла тишина, все заперто, тайно. Музыка затихала, а он бежал и вот добежал до лестницы и взлетел по ней, не оглядываясь. Тут коридоры стали уже, а ковры были темно-серые и пушистые, он ступал теперь бесшумно. За дверьми будто не было никого.

Когда Человек-слон схватил его и поднял, он думал, что умрет со страху, но вот не умер. И все запомнил, он все еще слушал музыку, и крики грохотали в ушах. Он подошел к длинному зеркалу в конце коридора и сам испугался, до того вытянутое и белое было у него лицо. А вдруг Человек-слон за ним гонится, а вдруг тут еще другие есть? Он бегом припустил обратно, к лестнице, вниз, а внизу он услышал голоса и испугался, что сейчас с ним расправится Человек-слон, или официанты накажут, или горничные, или женщина в лиловом. Сам не свой от ужаса, он толкнул серую дверь. Только бы переждать голоса и шаги, а там он побежит в холл, где няня Фосет пьет чай со своим знакомым, и все будет хорошо.

Вот те на!

Он оглянулся. Оказалось, это номер, спальня, и задернуты шторы, и на длинном туалетном столике горит лампа, а в зеркале он увидел, как Человек-слон поднял обе руки к голове. Он застыл, он в ужасе глядел в зеркало и смотрел, как руки поднимают, поднимают голову, а потом опускают, и вот голова очутилась на коленях у бывшего Человека-слона.

- Ну, Вильям, как на празднике погулял? - спросил знакомый няни Фосет и скорчил уморительную, злую, веселую рожу, а сам весь затрясся от смеха. На стуле Вильям увидел нянин темно-синий плащ, и шляпку, и сумку. - Ну, гульнули, поплясали! Эх! - сказал нянин знакомый. - Чтоб мне лопнуть! - Лицо у него собралось печальными складками, и он сделал вид, что плачет: - Бедный старый слон!

Вильям видел по отдельности два лица, человеческое и слоновье - у человека на коленях - и их отражения в зеркале. Его окружили страшные лица. Он всхлипнул, закрыл ладошкой глаза и потянулся к дверной ручке. Дверь не поддавалась, и что-то оттолкнуло его, и появилась няня Фосет, она поправляла юбку, и она его затолкала в номер, а ее знакомый - Человек-слон хохотал так, что слезы текли по щекам. В коридоре были чужие голоса, все расходились с праздника.

- Ты подарок забыл, - сказала няня Фосет.

Шел дождь, и гостиница была далеко от дома, так что поехали на автобусе.

- Ты бы в жизни не догадался, ей-богу, ни за что, - сказала няня Фосет и покраснела от удовольствия. - Он раньше в цирке выступал, мой знакомый, он первоклассный затейник.

Фары машин летели по Пикадилли шеренгой, будто это армия прорывалась сквозь дождь.

- Тебе прямо повезло, ей-богу, тебе любой позавидует, это уж точно. Так дуриком на праздник попасть! Надо же!

Он сообразил, что так и не понял, в честь кого из детей устроили праздник.

- Чего это ты тихий такой? - И она дернула его за руку, они огибали сквер. - Объялся, что ли? Смотри у меня!

Он думал про то, какие сны приснятся ему ночью.

- Только, чур, ни гу-гу, - сказала няня Фосет, поворачивая ключ в замке. Значит, нельзя рассказывать про ее знакомого и про праздник.

Он проснулся в темноте, и оказалось, что на матрасе и в простенке за кроватью полно рвоты.

- В другой раз удержишься, - говорила няня Фосет, сдирая с него пижаму. Волосы у нее были заплетены в смешные косички. - Глаза завидующие, руки загребущие. В другой раз удержишься, ишь обрадовал.

Он смотрел ей в лицо и не смел спросить про "другой раз".

- Какой он симпатичный, - говорила она, проворно обтирая ему лицо холодной губкой. - Не то что разные всякие. Так что веди себя хорошо, не моргай, не хлопай ушами и всегда будешь на праздники ходить.

Он снова лежал в темноте, на чистых, тугих простынях, и он знал, что с того дня, как высушили Круглый Пруд, все совсем переменялось и уже не будет как раньше, и ему было страшно, он жалел о том времени, когда няня Фосет презирала всех мужчин.

Четки зеленые и красные

После обеда кюре все бродил, и только в пять он спустился по откосу к деревне и встретил Альбера Пиге. Давным-давно эти Пиге владели всей землей по раздолу от края до края. Кюре не забыл, как старик Пиге сиживал на пеньке у себя на задворках, клевал носом и пускал вниз по щетине тонкую слюнку. В ногах у него всегда лежал Ласкар - пес вроде волка, тощий, с подобранным животом и острой, как у борзой, мордой. Никто не смел его тронуть, один хозяин.

Но то пятьдесят лет назад, когда еще он только приехал сюда новоиспеченным священником. Тогда он исходил поля вдоль и поперек, его распирало волнение, тогда он знал еще, чему верит, зачем живет, тогда он был еще честолюбив и предан Богу. И много лет прихожане

приглядывались к нему с опаской.

Старик Пиге помнил троих прежних кюре, любил про них рассказывать, их имена в приходской книге стали кюре Беньяку именами добрых знакомых, и, бродя по погосту, он задерживался по очереди у всех трех неброских надгробий.

Теперь землю Пиге всю переделили. Перед тем как умереть старику, их пошло трясти - болезни, беды, смерти, - и понемногу они распродали поля соседям. У них осталось два поля, виноградник и сад. Несчастья на них все сыпались, не стало ни денег, ни здоровья, и пришлось продать даже красночерепичную ферму и перебраться в пристройку, какую прежде сдавали работнику. Старший брат Альбера свалился с телеги и расшибся насмерть, сам Альбер вот поседел и согнулся до времени, глаза погасли, и пожелтело лицо. А ему и пятидесяти-то нет.

Кюре остановился посмотреть, как он чинит вороньи пугала. Сегодня спозаранок, когда он шел служить обедню, навстречу ему попался Альберов младший - спешил в лес по грибы на часок перед школой. Пиге все работающие. Кроме Марсея - тот только перебирает свои четки, зеленые и красные.

Завидя кюре, Альбер поднялся и потер больную поясницу. Яркое синее небо на западе пошло малиновыми полосами. Собиралась мошкара.

"Кюре. - Альбер проследил взглядом его путь через поле... - Старый, он подумал. - Чего там, все мы старые".

Но кюре скукожился, ссохся сухой веткой, под тонким покровом плоти обозначился у него череп.

Постояли вместе у плетня, потолковали насчет погоды, урожая, болезни мадам Кюрвейе.

- Я ведь их венчал, - сказал кюре Беньяк будто про себя. С самого утра ему докучало прошлое.

- Да уж. Я мальчишка был, а помню. Я еще на церковную стену залез и оттуда в них лепестками кидал. Они у меня в кулаке взмокли, аж потемнели, а я кидаяю. Вот денек был!

- Как Амели?

- Да по-старому. Нога ноет. Она говорит, к плохой погоде. А папаша ее так тот еще сдал, совсем из ума выжил. Надо его, видно, на зиму к себе перетаскивать, нельзя ему одному, да только где мы все поместимся, один Господь знает.

- Мне бы сходить к нему, да вот...

- Не приветит он вас, знаю. Крутой он, черт.

Оба умолкли, и тут бы кюре вставить вопрос насчет Марсея. Он его уж несколько дней не видел. Интересно, сказали ему про мадам Кюрвейе? Понял ли он? Она, единственная из всех, привечала Марсея, заговаривала с ним иной раз, идя от обедни. С ним, а больше ни с кем.

Да что Альбер ответит? "По-прежнему. Как всегда". Когда он вернулся домой, ему много было говорено про сына. Кюре хотел его урезонить, чтоб вел себя по-людски, да, видно, не так за это взялся. Самому стыдно вспоминать свою прямоту, самонадеянность, прыть. Пятьдесят лет ушло у него на то, чтобы научиться молчать и прощать.

Пиге сказал:

- Все по-прежнему, - и поскреб ногу заляпанным башмаком.

Да, все по-прежнему. И не по-прежнему вовсе. Меняется почва, подрастают деревья, их валят, и лес, глядишь, уж не тот. Год назад река как затопила пойменный луг, так его и не осушили, и на месте прежнего выгона стало болото. У Пиге тогда утонула одна корова. Вечно у них такое. Кюре на исповедях выслушивал обиды на Бога, горечь. За что все на наши головы? Вечно наши? Он не знал, что отвечать Альберу. Как рыдал Альбер, когда у него тогда ночью умерла дочка, стоял перед алтарем и бранился, и рыдал, и бил, бил кулаком осыпающуюся стену.

В приходскую книгу много занесено рождений, венчаний, смертей. Все по-прежнему. Все по-другому. Но неизменно они держатся в отдалении от кюре. Вот и теперь. Пиге стоял и ждал, когда он снова заговорит либо простится. Священник - как слепец, глухонемой или умалишенный - живет сам по себе, он существо, розное от них. Кюре много бы дал, чтоб это изменить, не жить отгороженно от людей, с которыми его так давно свела судьба. Он на них смотрел, когда они причащались, смотрел, держа дитя над купелью, стоя над гробом, и всегда он чувствовал свою оставленность, и ему хотелось взметнуть руки и закричать. А отвечать на их вопросы он разучился.

Он потрепал Альбера по плечу и ушел.

Мадам Кюрвейе умерла той же ночью. Сын Робера пришел за ним в церковь около десяти. Кюре надлежало бы по ней горевать, больше горевать было некому - она была бездетная и пятнадцать лет вдовела. Одноглазый Гастон и его жена, экономка, стояли в темном низу и ждали, а дождавшись вести, не заплакали. А для кюре смерть стала теперь даже понятней, чем жизнь.

- Вы расстроены? - спросил врач, он был молодой и неверующий.

- Она была очень старая.

- Да. Вы, простите, тоже старый. Но вы-то расстроены?

- Почему вы спрашиваете?

- Она вам давний друг. Вряд ли у вас их много осталось. Друг? Нет. Что он знал про мадам Кюрвейе? Что она про него

знала? Сорок лет он еженедельно выслушивал ее исповедь, но другом она ему не была. У него нет друзей.

- Добрая она была?

Кюре застыл на каменной лестнице. Он не мог ответить, потому что уже не знал, а может, и не знал никогда, что это такое - добрый. Попросили бы объяснить, он бы не сумел.

- Наверное, она была, как мы все, - сказал доктор Домек. - Всего понемногу.

- Возможно.

Он вышел из дома покойницы. Но вдруг посреди дороги, далеко от своего жилья, он снова застыл и услышал шум ночи, робкий, прохладный шорох ветра, скрип вишен и каштанов.

Что это такое - добрый? Он не знал. И вдруг ему стало страшно.

Мари оставила ему холодной еды, и он выпил стакан вина, чтоб согреться. Огонь еще тлел и разгорелся, когда он подбросил в него щепок.



Да, умерла мадам. Но не потому он так приуныл и растерялся. Он пробовал читать требник, но у него разболелись глаза, пробовал молиться, но в голове застрял неотвязный вопрос. Он заснул, и ему приснилась та ночь, когда родился Марсель и его позвали к Пиге.

Большая кровать выглядела странно в низкой, голой комнате. Топилась печь, Альбер Пиге сидел рядом, с дочкой на коленях. Амели лежала на кровати, темные волосы у нее слиплись, и блуждали глаза. Кюре подошел, взял ее за руку.

- Амели...

Альбер гадливо плюнул в огонь, огонь зашипел. Амели глянула на кюре горячий, горький и злобный взгляд. Гордая она, твердая. Недаром дочка Нувера, который ставил капканы, свеживал зверей.

Она показала ему на люльку в тени у кровати, а сама отвела глаза.

- У вас сын?

Ему не ответили. Только шипел огонь и что-то нашептывала на ухо отцу дочка.

Кюре пощупал личико новорожденного. И тесную комнату покрыл голос Альбера:

- Вы одеялко-то сдвиньте, кюре. Сами гляньте!

Тельце чудно смялось все на один бок. На спину налип горб и коленями оканчивались ножки.

- Гляньте лучше. Смотрите, чем нас Господь наградил.

А этой зимой умерла у них дочка.

- Почему не он! - выл Альбер. - Что бы ему-то помереть!

Кюре Беньяк в первый раз за всю жизнь не увидел в случившемся смысла, как сегодня он увидел смысл в том, что умерла мадам Кюрвейе, одинокая и старая.

Огонь догорал. Кюре размял затекшие ноги и побрел спать. А тот проклятый вопрос его не отпускал.

Хоронили мадам Кюрвейе во вторник. День был серый, промозглый, народу собралось мало. Кюре чувствовал себя старым, больным, потерянным - прожил жизнь, а к правде и не приблизился.

Наутро еще похолодало. Если холод продержится, виноград весь сгниет и такие, как Пиге, останутся на зиму без денег.

У кладбищенских ворот он помешкал. Кто-то уже прошел туда, и вряд ли это мадам Машо, которая убирала могилы и расчищала тропки, для нее еще рано. Кюре прошел в ворота.

Марсель Пиге на корточках, тихонько рылся в земле на могиле мадам Кюрвейе. Горб у него на спине вырос с ним вместе, и голова вдавилась в плечи. К культям ему прикрепили деревянные, и, обвязанный ремнями по плечам, он нескладно переваливался на костылях. Ему уже исполнилось двадцать, совсем взрослый, но лицо осталось детское, нежное, голое. В деревне кое-кто побаивался его, а ребяташки шумно бегали за ним и передразнивали, припадая на ногу. Марсель не обижался, смотрел и, когда считал, что у них хорошо выходит, хлопал в ладоши.

Услышав шаги, он оглянулся, улыбнулся своей широкой, робкой улыбкой и снова стал копать.

- Марсель? Ты что тут делаешь? Это могила мадам Кюрвейе.

Тогда он поднялся, сровнял ямку, взял кюре за руку и потянул прочь. Вместе они дошли до самой пристройки.

- Пожаловал, - разворчалась Амели. - Надоело за ним следить, и где его только носит. Небось не маленький. Что ему сделается?

Марсель улыбнулся и потянулся ее облапить.

А кюре Беньяк вернулся к могиле, разрыл кучку земли и нашел там яркие четки, зеленые и красные. Марсель их повсюду таскал с собой, в руке или в кармане, ими тешился. Он их перебирал, считал, прижимал к лицу и смеялся. Он просто не мог с ними расстаться. И вот принес на могилу мадам Кюрвейе.

Кюре согнулся и снова их закопал, а потом распрямылся, с трудом, не сразу, до того затекли и разболелись у него ноги. И кое-как он побрел домой. Лило. Он насилу добрался до своего кресла. Мари только еще развела огонь, в комнате было холодно. Он долго сидел один и думал про мадам Кюрвейе, и Марселя, и про подарок Марселя - четки, зеленые и красные, которые на все сразу дали ответ.

Он пережил старуху всего на две недели.

Друзья мисс Рис

- Тебя тут не хватало, - сказала Уэзеби, но только тихонько, сквозь зубы, потому что в любую минуту могла войти старшая сестра, а старшая сестра была его тетя. - Надоел... и так тошно.

Она нагнулась, ткнула угли черной кочергой, они жарко треснули, как маковки, и осыпались зернами искр. Он следил за ней тайком, искоса, ему стыдно было, что она его так не любит. Лицо ему обдало жаром камина.

Тетя Спенсер сказала:

- Молоко выпьешь тут, на табуретке. Нечего путаться у людей под ногами.

Но она просто говорила строго, а сама была добрая. Он ее знал всегда.

- Я в какой комнате родился?

- В шестом номере, рядом с бывшей детской, по коридору перед Рис.

Он это выучил, как стишок. Он спрашивал, она отвечала, мелькая в дверях, разнося туда-сюда подносы, судна, белые кувшины, от которых шел пар, - и всегда в одних и тех же словах.

- В шестом номере, рядом с бывшей детской, по коридору перед Рис.

А вот маме жалко было так ответить.

- Я в какой комнате родился?

- Ах, ну что за глупости, неужели нельзя запомнить, сто раз одно и то же спрашиваешь, я же тебе говорила...

Уэзеби насыпала в огонь еще угля, большими кусками, в камине стало темно. Тепло сразу сползло у него с лица. Уэзеби прижимала к животу левой рукой белый крахмальным фартук. Снова хлопнула дверь, звякнули на заставленном подносе стаканы. Где-то тренькнул звонок.

Он посмотрел на стеклянный щит. На щите были номера и такие красные язычки. Если кто позвонит, язычок болтается, болтается, болтается под тем номером. Он подумал: вот бы шестой, хоть бы шестой. Он зажмурился, снова посмотрел. Нет, не шестой. Девятый. Из шестого при нем ни разу еще не звонили.

- В шестом номере, рядом с бывшей детской, по коридору перед Рис.

Но Рис тоже никогда не звонила.

Тетя Спенсер говорила:

- Ей никогда ничего не надо.

А Уэзеби все равно ее ненавидела и, только старшая отвернется, все ворчала, как надоела ей эта Рис.

Он нагнул к лицу чашку со стынувшим молоком и лил его в рот по каплям. Он хотел пить подольше, а то Уэзеби сразу заметит, когда он кончит. И: "Ну, марш наверх, хоть от тебя-то избавиться, живо давай".

Уэзеби всегда была тут, в лечебнице на Кедровом Поле, и Рис тоже была тут, всегда, в седьмом номере. Он ненавидел Уэзеби, зато он был другом Рис. "Мисс Рис", - поправляла мама. И мама немного беспокоилась, не вредно ли ему без конца навещать такую больную. Но потом она решила, что ничего.

Он думал: вот был бы ужас - лежать в седьмом номере, как мисс Рис, и чтоб за тобой вечно следила, кормила тебя, укладывала спать и пилила Уэзеби.

- Для тебя она няня Уэзеби...

Как-то раз он вспомнил, что самый первый человек, которого он увидел, была Уэзеби, он даже запомнил ее лицо с того самого дня, как родился тогда, в шестом номере.

- А какой я был?

- Хороший, здоровый ребенок, - сказала тетя Спенсер, она разглядывала на свет фарфоровый поильник - искала трещину.

- Красный. - Это Уэзеби прошипела сзади, с темной лестницы. - Красный и противный. И визжал.

Верхние зубы были у нее большие, желтые, редкие и торчали из-под губы вперед, как навес. Он поскорей отодвинулся на своей табуретке.

Молоко было густое, сладкое. Он набрал полный рот, повертел языком, утешился.

- Нас сегодня не будет допоздна. И лучше всего тебе ночевать в лечебнице, - сказала мама. - Тебе будет весело.

Он отвел глаза и посмотрел за окно, в сад, на остатки стаявшего снега, пятнастого и грязного, как то белье, которое спускали на специальной тележке к тете Спенсер прямо в прачечную.

Ему хотелось сказать: не хочу, не надо, не хочу я там ночевать, там Уэзеби. Он один раз даже что-то такое начал.

- Для тебя она няня Уэзеби, и вообще - что за глупости?

- Она уродина.

- Не всем же быть красивыми.
- У нее зубы желтые.
- Какие гадкие слова, воспитанные мальчики так не говорят!
- Она...

Да разве тут растолкуешь. Он постарался не думать про верхний этаж лечебницы и про чердак, где ему придется спать - рядом с комнатой Уззеби.

- А вы на бал едете?
- Нет, миленький.
- На ужин?

Вечно они надевали все новое, садились в теплую машину и катили куда-то. Он знал фамилии всех знакомых, к кому они ездили, знал, кто как называется, и он знал, как называются скверы и улицы, где каждый вечер гулял с Ширли, девочкой, которой за это платили по часам.

- Значит, на банкет к мэру, что ли?
- Глупенький, это же весной. А теперь ноябрь.
- А куда вы едете? Скажи.
- Просто поиграть в винт с мистером и миссис Темплтон. Понял?

Он знал, что винт - такая игра, в нее играют, сидя за столом с картами, но каждый раз, когда он слышал эти слова, он одно и то же воображал большой-большой винт, и маму, и папу, и Темплтонов, и Хоулэйков, и Эскю-Фишеров, и как все они держатся за этот самый винт и во что-то его ввинчивают. И все в вечерних платьях и костюмах.

- Зачем мне к тете Спенсер? Пусть лучше я дома останусь и кто-то со мной посидит!
- Но я же тебе объяснила: мы задержимся допоздна, и просто - так гораздо удобней. Ну, доедай морковочку.

Молока осталось чуть-чуть, на донышке. Он заглянул в чашку и вспомнил маму в бледно стекающем шифоновом платье. У Темплтонов свой "Отель Королевского Парка", он выходит на эспланаду. В саду у них чилийское дерево, густое и темное, как войлок.

- Ишь сидит, играет, - прошипела Уззеби, она нагнулась, заглянула в голубую чашку и пахнула на него разогретым накрахмаленным ситцем и духом стоялого крепкого чая из-под желтых зубов.

Тетя Спенсер влетела, хлопнув дверью, а за ней ночная сестра, и обе кричали, что Одиннадцатого вырвало в постель и на пол. Он слушал, и ему было все равно, он привык, что взрослая жизнь чуть не вся состоит из таких вещей - рвот, температур, смертей и поносов у больных в лечебнице. Он не испугался. Он ходил сюда всегда.

- В постель... - вдруг сказала тетя Спенсер, но он глянул на нее и успокоился, он знал, что она жалеет его, хотя ей приходится суетиться и заботиться сразу о стольких больных. Он последний родился на Кедровом Поле, пока еще тут не "прикрыли родильню". Вечерами она нянчилась с ним у себя в комнате и отгоняла мысль о собственной близкой старости. - В постель...

Он встал с табуретки.

- Я в какой комнате родился?

- В шестом номере, рядом с бывшей детской, по коридору перед Рис.

Удовлетворенный, он стал на пороге.

- Я пойду ее навещу.

- Кого? Рис? Нет. Уззеби пошла ее на горшок сажать.

- А я подожду и потом только скажу ей спокойной ночи.

- Не нужны ей гости в такую позднь.

- Но ведь же теперь только... - он посмотрел на часы, и опять ему изменила память, он пока не умел сообразить, что означают стрелки, если только они не стояли совсем прямо, когда двенадцать или шесть.

Папа говорил:

- Он совершенно не соображает, как по часам определять время. - Папа наклонялся и на него смотрел. - Надеюсь, он будет лучше соображать кое в чем другом.

Огонь уже выбивался из-под новых угольев, и не хотелось уходить от него, и от тепла, и от света, и запахов кухни к железной кровати пятью маршами выше, на темном чердаке. Тетя Спенсер сказала:

- Я теперь к Одиннадцатому. Я еще к тебе зайду.

Она толкнула дверь, и он вышел следом и смотрел сзади на твердые складки парившего за нею чепца, и черные больничные башмаки, и черные чулки, обтянувшие крепкие ноги. Хорошо, что она придет и побудет с ним, пока он раздевается, моется и молится на ночь. И он не останется с Уззеби.

Перед дверью шестого номера он замер, зачарованно глядя на волшебную цифру, выведенную темным с позолотой.

- Ну, пошли, пошли, - сказала тетя Спенсер. Она уже немного запыхалась. - У нас сегодня и так рук не хватает, а Двенадцатый при смерти. Некогда мне тебя ждать.

Он заглянул в коридорчик, уводивший к седьмому номеру.

- К Рис и завтра успеешь.

И они стали взбираться по крутому следующему пролету.

Няня Уззеби, вся красная, плюхнула поднос на кухонный стол. Он поднял на нее взгляд и тут же снова уставился в тарелку, болтая ложечкой в каше.

- Одна гадость и грязь, - буркнула Уззеби, - вечно все проливает.

Он всполошился, оглядел стол вокруг тарелки, свой пестрый свитер. Нет, ничего. "Значит, это Рис", - подумал он.

- Куда уж дальше-то... вечно все проливает... зажилась... - слова летели из разных концов кухни, по которой металась Уззеби. Он понял, что она говорит не с ним.

За окном висело небо, набрякшее новым снегопадом. Он взял еще ложечку сахара, долго посыпал кашу, и темные зернышки окунались в овсянку, таяли, и от них оставались пятна. Тетя Спенсер с няней О'Киф наверху обмывали Двенадцатого. Когда уж мама за ним придет?

- Ну, хватит, некогда мне с тобой валандаться. Прямо как Рис, гляди, сколько грязи развел. Хаггит ждет, ей убирать пора, небось знаешь.

Он застыл. Было еще темно. Она вошла на чердак и его разбудила. И стала хватать за пижаму своими корявыми пальцами. Вот придет мама, и он все ей скажет, или он тете Спенсер скажет, и не будут они больше оставлять его на чердаке. Только нет, не скажет он ничего, он и слов-то не подберет.

И он боялся Уэзеби.

Дверь распахнулась.

- А я думала, ты хотел к Рис зайти, - сказала тетя Спенсер.

Он вышел из-за стола и спросил, кто это - Двенадцатый. У тети Спенсер были полны руки грелок, вытасненных из постелей и остывших за ночь.

- Мистер Перро, бедняжка старенький. - Она повернулась к Уэзеби. - У него ведь шуринов, и все. Ни разу не наведалься. Надо позвонить. Гробовщик обещался к трем.

Он вышел из кухни, побрел по линолеуму первого пролета. Потом начинался паркет и красный ковер, вытертый башмаками сестер, докторов и родственников. Он думал про мертвого мистера Перро в двенадцатом номере. Один раз он его навестил; но они не поговорили, мистер Перро спал. Он тогда даже обрадовался. Он всегда боялся той минуты, когда его пошлют навещать нового больного, в незнакомую комнату.

- Пойди поговори немножко с Девятым... с Пятнадцатым... со Вторым... а то бедняжка скушает.

И он стучался в темные двери, толкал их, и входил, и всегда боялся увидеть что-то ужасное.

Мистер Перро оказался сморщенный, волосы и лицо были у него тускло-желтые, одинакового цвета. И чуть отвисла челюсть. Двенадцатый номер был меньше всех и выходил на церковь Святого Мартина. Он вежливо постоял, но мистер Перро не проснулся.

На кухне лечебницы тетя Спенсер нарезала хлеб и кинула маме через плечо:

- Рак

А теперь мистер Перро умер.

Он подошел к седьмому номеру. Рис. Она была тут, когда он родился. И когда он даже еще не родился. Одни, как, например, мистер Перро, поселялись тут на время и умирали, а другие, как вот Рис, оставались тут всегда. Он постучался - из воспитанности, потому что ответа быть не могло, - и открыл дверь.

- У ее родни денег куры не клюют, - говорила Уэзеби, - девать некуда. Вот и тратят незнамо на что.

Комната мисс Рис была самая большая и дорогая во всей лечебнице на Кедровом Поле, окно в сад, и у окна - постель мисс Рис, и тут стояло кое-что из фамильной мебели - шератоновский туалетный столик, за которым она не могла сидеть, и кресла для гостей, и на

полу был персидский ковер, и над камином висела большая картина. Мисс Рис лежала на высокой постели, и ее богатая семья за все платила - сестра, и двое женатых братьев, и старуха тетка, а раз в неделю, по воскресеньям, они по очереди ее навещали. Приезжали на машинах с шоферами, в мехах, исполняли свой долг, пили чай, томились.

Он прошел за ширму по персидскому ковру, стал у высокой постели. Мисс Рис пришлось долго поворачивать голову на подушке, чтобы отвести глаза от окна и посмотреть на него. Он ждал. У Рис, которую вечно ругала Уэзеби, у богатой мисс Рис с прямыми седыми волосами и очень нежной кожей дрожало все тело, и голова, и руки, и ноги. Тетя Спенсер как-то объяснила: "Болезнь Паркинсона".

Бледные глаза чуть расширились, и он понял, что она его узнает. На золотистом стеганом одеяле дрожали руки. Он сказал:

- А я уже позавтракал. Я тут ночевал, потому что мама с папой в гости пошли. Они в винт пошли играть, в "Отель Королевского Парка".

Раньше мисс Рис еще умела кивать, а теперь уже непонятно было, кивает она, потому что ей интересно, потому что слушает, или она просто трясет головой.

- А вы тоже кашу ели? Я кашу ел.

Рука мисс Рис чуть дернулась на одеяле, словно зверек, у которого свои какие-то мысли. Лунки на продолговатых ногтях были белые, как мел.

- А мне на рождество щенка подарят. Спаниеля. Я его к вам приведу познакомиться, ладно? Вам он понравится.

Дрожь не унималась.

Раньше он думал, что Рис старая, старше всех. Она пролежала в постели в лечебнице на Кедровом Поле целых одиннадцать лет. Но он спросил у тети Спенсер, и оказалось, что нет, вовсе Рис не старая, она молодая, ей и пятидесяти еще не исполнилось, в этом-то и трагедия. Она, тетя Спенсер сказала, и на свете-то не пожила.

Он стоял у кровати и ждал, когда зазвонят часы на церкви Святого Мартина. Мисс Рис еще заговорит. Он знал даже, что она скажет. Она всегда одно и то же говорила. Он тер правую сандалию подошвой об носок левой и удерживался, как бы не сбить мисс Рис, не оказаться невежливым.

- Она все соображает, - говорила тетя Спенсер, - ты не думай, у ней просто язык не ворочается, а мозги в порядке. И ты уж с ней веди себя прилично.

Только Уэзеби ворчала, шипела каждый день, гремя подносами после завтрака, после обеда и после гостей, гремя кружками, суднами и горшками, только Уэзеби говорила, когда старшая не слышала, что Рис зажила.

Вялые, тонкие губы дрогнули, и язык влажно зашарил по небу, нащупывая слова. На подбородке застыл подтек от яйца. "Пачкает, - Уэзеби говорила, все разливают, как дитя малое. Куда уж дальше-то. А все на мне, больше некому, я-то вижу, куда дело идет. Крышка ей, только небо коптит".

Он удивлялся, зачем Уэзеби пошла в няни, а потом сообразил, что больше она ничего не умеет делать, она больше нигде не нужна. Он смотрел, как она пихает ложку за ложкой в беззащитный рот мисс Рис и не дает ей времени глотать, цыкает, понукает. Но один раз она вышла из комнаты на неумный звонок и оставила чашку, и он взял стул, встал на него, чтоб дотянуться до мисс Рис, и стал тихонечко, осторожно ее кормить. И она все съела, ничего не

пролила. Просто это много времени заняло. Уэзеби он ничего не сказал. Мало ли. Может, придется снова ночевать на чердаке.

Наконец у нее получились слова. Он их понял потому, что они всегда были одни и те же.

- Хочешь конфетку?

Словно речь какого-то племени, у которого рот устроен вовсе не так, как у нас, или, может, как бляенье или мычанье, неразборчивое, произвольное. Он подумал: каково это, все правильно понимать, все слова, слышать их у себя в голове и никак их не выговорить, и они кружатся, бедные, путаются, болтаются, вроде белья в стиральной машине.

Он сказал:

- Хочу. Спасибо большое, - и снова стал ждать, пока рука чуть-чуть проползет по золотистому одеялу, указательный палец дернется и потянется изо всех сил в сторону шератоновского столика.

Коробка была жестяная, и на ней нарисованы, будто бы вышиты, листья и розы на черном. Там, где открывалась крышка, и у шарниров по бокам краска облезла. Коробка была тут - в левом ящике - всегда. Он знал на ней каждую зазубринку. А внутри лежали леденцы, светло-коричневые, полосатые, в целлофане. Всегда только такие леденцы. Их приносили мисс Рис богатые родственники по воскресеньям. Она сама не могла их есть.

Он развернул целлофан, сунул леденец в рот, и беседа сама собой кончилась, теперь он только потягивал сладкую струйку, гулял по комнате, перебирал знакомые вещи, разглядывал картину "Рождественская охота" и отрывной календарь "Английские сады". Мисс Рис лежала на высокой постели, тряслась и смотрела, смотрела на пустую аллею, на скучный газон.

- Она любит, чтоб я ее навещал, - говорил он тете Спенсер. Визиты были как тетины ответы на его вопрос.

- Я в какой комнате родился?

- В шестом номере, рядом с бывшей детской, по коридору перед Рис.

Одинаковые, знакомые, утешные. Рис. Он знал ее всегда.

- Иди вниз, за тобой мать пришла.

Уэзеби хлопнула дверью, шагнула к Рис, стала подтягивать на постели, та с нее все время сползала, не могла удержаться. Он посмотрел немного, вспомнил холодные пальцы Уэзеби и выскочил из комнаты, даже не оглянувшись на покорный взгляд мисс Рис.

- Мы на субботу-воскресенье останемся у одних знакомых в Линкольншире. Ты там никого не знаешь, и детей у них нет, тебе было бы скучно. Гораздо приятней побыть у тети Спенсер.

Он жевал корочку тоста, вертел и вертел во рту. Опять навалило снега. Он скрипел у него под сапожками, когда шли в лечебницу. Сумку свою он нес сам.

В комнате у тети Спенсер пахло чем-то сладким. Тут полно было разной мебели, подушечек, вышивок, скатерок, салфеток.

- Я тебе на столе место расчистила, сиди себе и рисуй, - сказала тетя. - И не будешь мешаться у людей под ногами.

Он долго сидел в душной комнате, мучился с перочинным ножиком, с новой коробкой



карандашей, пробовал рисовать лошадок, томился. На скатерке - карте Англии - он нашел Линкольншир и стал думать про маму и папу и в каком они там доме остались.

- А какая их фамилия?

- Я же тебе сказала, миленький, ты с ними незнаком, они у нас никогда не бывали.

- Все равно скажи, как они называются. Я про все люблю как называется знать.

Она недоуменно на него покосилась.

- Странный ты! Ну ладно, их фамилия Паунтений. Мистер и миссис Паунтений. Вот.

- А они в винт играют?

- Откуда же я знаю? Наверное, играют.

- А почему у них детей нету?

- Такие вопросы - слышишь? - никогда не задают!

Он сам не знал, хочется ему в этот Линкольншир или нет. На стене, над столиком у тети Спенсер висело резное распятие и размыто-блеклая картинка Иисус, агнец Божий.

Он снова принялся за лошадок.

Он услышал шорох двери и сразу проснулся, сел на постели. Было совсем темно. Далеко внизу, на кухне - ночная сестра, и там у нее горит лампа, и огонь в камине, и молчаливый строй звонков на щите. И больше никого. На площадке скрипнули половицы. Уэзеби. Как ни зови, как ни кричи - никого не докличешься, и бежать ему некуда. Вот-вот повернется дверная ручка. Нет, ничего. Звуки. Но они ушли мимо, по коридору и вниз. Он встал с постели, вытянул вперед руки и пошел в темноте к двери.

По всей лестнице донизу на каждой площадке тускло горели лампы, после каждого марша. Он перегнулся за перила и увидел затылок Уэзеби, она повернула и скрылась в коридорчике перед седьмым номером, перед комнатой мисс Рис. Он почему-то испугался.

Ему хотелось по-маленькому, было даже больно, но он боялся спуститься в уборную на первый этаж. Он вернулся на чердак, ощупью добрался до постели и лег, зажав руками пах, чтоб не налить на матрас. Он не мог уснуть. Уэзеби вернулась. Он замер, а потом заплакал от облегчения, когда ее шаги прошли мимо. Ничего, ничего, ему ничего не будет. Он стал думать про Рис.

Он снова проснулся в испуге, ему приснился сон. И он не мог его вспомнить, но он знал - что-то случилось. Пижама была мокрая, и на простыне мокрый след. Было темно. Ни звука на площадке, на лестнице. Еще горели лампы. Кажется, он еще не совсем проснулся.

Дверь седьмого номера была закрыта. Сперва он просто там постоял, дрожа в мокрой, липкой пижаме. Вчера он заходил к мисс Рис, побыл у нее, съел две конфеты, рассказал про маму с папой, что они в Линкольншире, и про то, что у него не получают лошадки.

- Свет-то выключи, - сказала Уэзеби. - Я ей не нанялась туда-сюда таскаться.

Но он не потушил, было еще рано, и ему жалко было оставлять мисс Рис в темноте.

Каждое утро перед завтраком, и после обеда, и на ночь Уэзеби с кем-нибудь еще сдирала одеяло с трясущейся мисс Рис и высаживала ее на деревянный стульчак. Но вчера Уэзеби пришлось менять все-все, простыни, одеяло - все насквозь; она, сказала Хаггит, паршивка

она, распустилась, пальцем лень шевельнуть, звонок нажать. Куда уж хуже-то. Паршивка она, Уэзеби сказала Хаггит.

Ему хотелось сейчас же увидеть мисс Рис, утешиться.

В комнате стояла тьма. Он ничего не слышал, пока не закрылась дверь, а потом услышал тихое жужжанье газа.

Он подумал: наверное, она умерла, а он еще никогда не видел мертвых, только видел гробы, мужчины в пальто их носили по лестницам. Но мисс Рис лежала на двух взбитых подушках, и она не умерла, она дышала, глубоко, и лицо в свете ночника было красное.

Он распахнул окно, а потом затаил дыхание, побежал, и в уборной на следующем этаже его вырвало. Он не знал, что делать и какие выбрать слова, чтоб ему поверили. Мисс Рис не умерла. И надо было идти спать.

По субботам Уэзеби готовила утренний чай, надевала зеленое вязаное пальто, шапку, уходила, садилась на автобус и уезжала к своей замужней сестре за город, за одиннадцать миль. И не возвращалась до позднего вечера. Завтра суббота. Значит, ему ничего не будет.

Он закрыл свою дверь и услышал, как открылась дверь Уэзеби. Внизу часы пробили полседьмого. В семь загрохочут чашками. Он больше не смог заснуть.

- С Рис что-то нехорошо, - сказала тетя Спенсер. Он взметнул взгляд от жидкого желтка и увидел, что Уэзеби вошла на кухню и она на него смотрит из-под тяжелых век, сощуренная, злая. Он подумал: она умерла, умерла, и это я виноват, я не сказал. Уэзеби ее отравила газом от камина. Он все сделал как надо, папа учил его про газ, и про камин, и про то, как быть, если кто-то сознание потеряет или сильно порежешься; папа говорил - мальчик должен действовать решительно. Надо с детства все уметь, мало ли что может случиться.

- Я ей чай носила, - сказала Уэзеби. - Все было ничего. - Она не отрывала глаз от его лица.

- Плохое дыхание. - Тетя Спенсер откупорила большущую бутылку детоля и стала его лить.

Значит, она не умерла, значит, все обошлось. Хорошо бы сегодня не спать на чердаке, надо притвориться больным, и, может, тетя Спенсер его у себя положит. Завтра папа с мамой вернутся из Линкольншира, и ему ничего не будет, и никто не узнает.

Тетя Спенсер поставила на стол чашку горячего молока. Он снова принялся за лошадок. Уэзеби ушла, он увидел, как мелькнуло за окном зеленое пальто, и отвернулся. "Она знает, - он подумал, - она следит за мною, она все знает".

- А постель-то у тебя... - сказала тетя Спенсер.

Он молчал и представлял себе мокрый след на матрасе.

- Ну чего так смотришь? Я маме не скажу.

- Ой.

Она подошла к двери. Он сказал:

- Можно я навещу мисс Рис?

- Что ты. Доктор Маккей придет с минуты на минуту.

- А что с ней?

- Да ничего особенного, простуда небось. - И вышла. Он вспомнил ее слова "плохое дыхание" и подумал про газ и как он открыл окно, а мисс Рис лежит под самым окном. Снегу еще навалило. Он никому не скажет, да и что говорить? Он уже не знал, что было на самом деле, а что приснилось.

- Если закутаешься потеплее, можно на дворе поиграть, - сказала тетя Спенсер.

Он скатывал шар для головы снежной бабы, больше, больше, и тут синяя машина доктора Маккея стала у лечебницы. Он подумал: вот хорошо, теперь мисс Рис не умрет.

Снег налип на красные варежки, прошел насквозь, и пальцы горели от холода, будто он прищемил их дверью. Он все скатывал бабу. Перед самым обедом доктор Маккей спустился по лестнице, сел в свою синюю машину и осторожно отъехал.

После обеда Хаггит и няня О'Киф больше часа играли с ним на кухне в пьяницу и подбрасывали в печку дрова и уголь большими кусками. Он у них четыре раза выиграл.

- Прими от кашля капли вишневые, - сказала Хаггит, тасуя карты, и от карт на него пахло сладким, острым. Снова пошел снег. Он подумал: тут хорошо, лучше не надо. И, может, автобус Уэзеби еще где-то застрянет.

В полпятого тетя Спенсер и О'Киф понесли наверх чай, а без двадцати пять О'Киф вернулась на кухню.

- Рис умерла.

Он забыл, что надо притворяться больным, а теперь-то чего уж. Он сидел на табуретке и пил горячее молоко.

- Я тебе под кроватью горшочек поставила, - сказала тетя Спенсер.

От отвел от нее глаза, стараясь не представлять себе навсегда застывшую на высокой постели, мертвую мисс Рис. О том, что в номер седьмой теперь поселят кого-то другого и слова "по коридору перед Рис" утратят свой смысл, он и подумать не мог.

- Я сестре ее позвонила. Да им-то что. Рады небось денежки свои приберечь. Богатые, а жадные... вот ведь бедняжка.

Но никто не удивлялся, никто не беспокоился.

В десять минут восьмого распахнулась кухонная дверь. Уэзеби отряхивала снег с зеленого пальто.

- Рис умерла, - сразу сказала О'Киф.

Он опустил глаза на свое молоко. Уэзеби пошла искать тетю Спенсер. Из-за погоды она только походила по магазинам в городе, а до замужней сестры не добралась.

Огонь полохнул, плюнул в него угольной щепой, как шрапнелью. Пламя было сине-зеленое.

- Пневмония, - сказала тетя Спенсер в дверях кухни. - А Маккей чего-то про экспертизу плетет.

Он спиной почувствовал, как Уэзеби двинулась к нему через кухню.

- Хоть этого наверх отвести, - сказала она. - Одной заботой меньше.

Он смотрел ей на ноги, они были искореженные, под черными больничными башмаками

выпирали мозоли. Сзади тетя Спенсер стряхивала градусник. Она сказала:

- Там у него горшочек под кроватью стоит.

Он пошел за няней Уэзеби из кухни, потом по линолеуму первого марша.

Осси

Увидев, кто жмет руку капеллану на пороге англиканской церкви в Венеции, я вдруг понял, что ведь это он же, Осси Лоутон, торговал накануне на мосту Риальто заводными игрушками из чемодана.

Но Осси, в общем-то, уже ничем не мог меня поразить. В последний раз я встретил его за двенадцать лет до этого при столь же нелепых, но для него вполне естественных обстоятельствах, и тоже в Италии.

Я тогда охотился за одной картиной и собрался в Кёльн на аукцион. Из-за забастовки персонала в аэропорту мне в последнюю минуту пришлось взять билет на миланский ночной экспресс, и там-то, в зале ожидания первого класса, я наткнулся на Осси.

Этот зал мне всегда напоминает захиревший лондонский клуб. Тут мрачно, по стенам громоздятся полированные темные секретеры, а высокие стулья, обитые темно-красной кожей, закрепленной гвоздями, похожи на собранные во множестве папские троны. И вот Осси сидел, как папа, покоя руки на подлокотниках, откинув голову и закрыв глаза. Я подумал, не болен ли он раньше он часто болел, - у него была какая-то кисло-белая кожа и под глазами красные пятна. Мы точные ровесники, но даже в школьную пору, когда мы с ним дружили, Осси всегда выглядел намного старше меня. Усталость и искушенность появились на его вытянутом лице, возможно, с самого рождения.

В ту ночь я обрадовался при виде его, потому, наверное, что мы не встречались с конца войны, а стало быть, воспоминанья, в которые он мог бы удариться, успели повыветриться. Я внимательно оглядел надменную мину, а потом тронул его за руку. Легкие до странности, веснушчатые веки вспорхнули как жалюзи. Больше в лице ничего не дрогнуло.

- Осси...

Это мне уже действовало на нервы: сидит, вонзив в меня свинцовые глаза, и не только не удивляется, но просто не узнает. Волосы, еще густые, хотя и с проседью, были у него длиннее, чем носили тогда мужчины - даже мужчины вроде Осси; они кустились за ушами и свисали на лоб.

- Я же Теренс Хэллидэй.

Еще несколько секунд он не шевелился, а затем сокрушительный вздох будто зародился где-то у него в недрах, поднялся волной, набрал силу, наполнил все тело, поверг в дрожь и, наконец, вырвался изо рта:

- Знаю, мой милый, конечно, знаю!

Он всегда подвывал подчеркнuto, но сейчас - с особенной растяжкой, и, говоря, он знакомо, нетерпеливо дернул рукой.

- Вот так встреча! Что тебя занесло в Милан, Осси?

Но сам я почувствовал фальшь в своем голосе - неумный энтузиазм и сердечность, а ни того, ни другого Осси не выносил.

- Я поезда жду. Я уже пять часов тут.

- Пять часов? Ты опоздал?

- Нет. Ты же прекрасно знаешь, я всегда панически боюсь опоздать на поезд.

Что правда, то правда.

- Единственная гарантия - очень загодя приехать на вокзал.

- Да, но пять-то часов, Осси!

Он нетерпеливо мотнул головой.

- Тут сложное стечение обстоятельств. Было два поезда, к одному я мог успеть за полчаса, а к другому за пять. Я выбрал второй.

- Господи, и что же ты тут делаешь?

- Сижу. Очень удобно.

- Может, выпьем? У меня еще время есть, и тебе веселей будет.

- Ты же знаешь, я не пью.

Вот уж чего не знал, того не знал. В субботу и воскресенье, которые мы провели с ним в Кембридже в 1945 году, он пил не переставая. Но я постеснялся ему про это напомнить. Не нашелся я и тогда, когда Осси заявил:

- Я направляюсь в монастырь.

Я предложил хотя бы выпить по чашке кофе.

- Мы сто лет не виделись, есть о чем поговорить.

Но когда мы устроились за столиком, выяснилось, что говорить нам не о чем. Осси сидел, томно уставясь в свою чашку, нога на ногу, рука на спинке соседнего пустого стула - и молчал.

- Ей-богу, - отчаявшись, начал я, - на Миланском вокзале хоть навек поселяйся; тут тебе все, что надо, - обеды, закуски и спиртное - пожалуйста, и все удобства, книги, газеты, разнообразнейшая публика. Спи себе на диванчике, места много, можно и погулять. И химчистка есть, и парикмахерская.

- Вот именно, - сказал Осси между легкими глоточками кофе. - Именно!

Я чувствовал себя круглым идиотом.

- Ну... А что ты вообще-то поделяваешь, Осси?

- Да так, всякое,- ответил он, помолчав. - У тебя найдется английская сигарета?

Я дал ему сигарету, и он аккуратно вставил ее в костяной мундштук. Характерно, что он ничего мне не сказал про свою жизнь. Он всегда скрытничал, хоть в те времена, когда я хорошо его знал, скрывать ему было решительно нечего. Например, застанешь его за чтением письма, он сразу сложит листок и сунет в карман. И он вечно запирает один ящик письменного стола. А если в разговоре он упомянет какого-то друга и ты его спросишь, кто это, он непременно ответит:

- Неважно, ты не знаешь и обойдешься.

Вообще, сам удивляюсь, как я терпел грубость Осси. Ведь как я ни старался объяснить это "его особенностями", "его манерой", я знал, что это грубость, хоть, возможно, и безобидного свойства. Осси был мой друг, мой первый, мой лучший друг, и, честно говоря, мне льстил его выбор, меня он удивлял, и я до того боялся утратить его расположение, что не смел восставать против хамоватости, с которой частенько сталкивался.

Но дело не только в этом. Кроме кривлянья, грубости и самомнения, Осси обладал и кое-какими другими, скрытыми свойствами. Когда мы оба были подростками, он меня ошеломил, я не знал ему равных, он казался мне самым обаятельным существом на земле. Я родился в семье небогатого врача в Солихалле. Осси родился в России, правда в английской семье. Семилетним его одного отправили на поезде из Москвы в Турцию. Год он прожил в Персии и там научился вышивать серебром и золотом у одной девяностосемилетней старухи. Когда мы с ним познакомились в сассекской школе, отец его уже умер, а мать вышла замуж за пианиста-еврея. Он гастролировал, они все время разъезжали, и у Осси, в общем, не было дома. Каникулы он проводил, либо мотаясь по городам Европы, либо у своей одинокой тетки в Саффолке. Там, чтоб развеять тоску нудных каникул, он одевался в наряды теткой матери из сундуков на чердаке и, как он мне поведал, выступал на перекрестках, пел, выделял немислимую чечетку, обмазав лицо мукой и размалевав желтой и бирюзовой краской. Он якобы "огребал кучу денег" и удирал от полиции прямо из-под носа. Я ему тогда не поверил.

У него были странные сокровища, и он каждый раз таскал их в школу к началу семестра. Наверное, ему их надарили поклонники нежной, никчемной матери или отчим, которому он дал кличку Альбинос за невероятно светлые волосы и кожу. Особенно я запомнил крошечную, выцветшую парчовую туфельку, в которую несчастная китайка засовывала некогда свою искаленную ножку. Осси прикладывал ее к собственной длинной, но изящной стопе. Была у него и шкатулка светлого дерева, выложенная слоновой костью по индийским эротическим сюжетам. Осси ими не интересовался и говорил мне с пресыщенным видом, что "знает все эти штуки вдоль и поперек". Я мечтал получше разглядеть картинки, но принимал тот же пресыщенный вид и не смел проявить свой интерес, даже - до того я его читил - когда Осси выходил из комнаты. Еще у него была крошечная японская куколка из бунраку - маленький-маленький старичок с морщинистым лицом, в лиловых, странно не поблекших одеждах; и тяжелый перстень с печаткой, с инициалами К. К. Р. - помню, Осси мне растолковывал, что это Квентин Квенингтон Ройс, его предок. И еще - русский флакончик для духов, овальный, тяжелый, оплетенный эмалевым узором очень тонкой работы, наверное, ценный. Может, и все в его коллекции было ценное, и я всегда удивлялся, что ему разрешают таскать такое в школу. Мне даже как-то пришла в голову предательская мысль - не стянул ли Осси просто-напросто эти вещи у матери, или у Альбиноса, или - но это уж вряд ли - у саффолкской тетки. Но я сам устыдился своей догадки и отбросил ее.

Мы с Осси близко дружили с того дня, когда поступили в нашу школу, до того дня, три с половиной года спустя, когда он ее бросил, верней, не вернулся после рождественских каникул. Сейчас еще помню, как я был потрясен и как яркий день - особенно красивый из-за снега - вдруг вылинял, потух, сгас и съежился.

Недели через две Осси прислал мне весточку из Израиля, куда переселилась его семья и где, объявлял он мне, "открылась изумительная жизнь". Я отчаянно ревновал Осси к Израилю, к матери, к Альбиносу, ко всем, кого он встретит, с кем подружится. Я сознавал, что мой образ сотрется из его памяти, не выдержит сравнения с блистательными, тонкими личностями, какие встретятся на его пути, и я писал ему длинные, отчаянные письма.

Он не отвечал, а когда на следующее рождество я получил от него экзотически изукрашенное поздравление на изысканной бумаге с водяными знаками, тоска меня уже отпустила,

ревность прошла и жизнь наполнилась новыми людьми и занятиями. Я понял, что почти не скучаю по Осси.

Но нам еще пришлось встретиться в тот год, когда я кончил школу, и возобновить знакомство, если не дружбу. Осси покинул Израиль, сочтя его "чересчур провинциальным", и явился в Лондон, где он чудодейственно развеивал послемюнхенскую напряженность, развлекая своими остротами широчайший круг юных космополитов на вечеринках, речных прогулках, дневных спектаклях, роскошных коктейлях - и бог его знает где еще. Он вел жизнь юного богача с талантом и обаянием. Правда, ни одного выраженного таланта у Осси не было, обаянию мешала грубость, а денег, насколько я знаю, у него не водилось никаких, кроме подачек от матери, обосновавшейся к тому времени в Нью-Йорке со склеротиком Альбиносом на попечении. Осси немного "работал" секретарем у богатого, знаменитого драматурга, мерзкой личности по фамилии Шервин. Шервин развил худшие наклонности Осси. Он стал тщеславным, надменным и невероятно поглупел. Тут-то он всю развернулся, практикуясь в идиотских штучках, какими нет-нет да баловался, когда мы еще учились в школе. Одевался как фат, обжирался, сюсюкал и шепелявил, тянул слова, и скоро это мне осточертело.

Несмотря ни на что, я был к нему привязан, я его ценил. Несколько раз я таскался с ним в гости и вызывал его на более или менее осмысленный разговор, но всегда безуспешно. Он не поддавался. У него была своя жизнь, у меня своя. Я работал на одного крупного аукционера, а в свободное время изучал историю живописи и ходил по галереям. Все это в глазах Осси и его компании делало меня чересчур серьезным.

- Теренс у нас теперь по искусству, - представил он меня как-то девице в серебристом платье с голой спиной, - и стал таким зану-удой.

После этого я уже отклонял его приглашения, он не слишком наседавал, и мы потеряли друг друга из виду. Демобилизовавшись после войны из флота, я получил службу в одной из лучших лондонских галерей, где я сейчас старший совладелец. С того раза как он поволок меня на пьянку в Кембридж, Осси то и дело цветистой морочащей бабочкой впархивал в мою жизнь. Всегда нежданно-негаданно, как и в ту ночь, когда с больным и скучливым видом он сидел против меня за столиком на Миланском вокзале.

Единственное, что мне удалось выведать, - он, оказывается, какое-то время прожил в Париже. Неизвестно, собирался он снова туда или нет. Одно я понял ясно по его виду - веселые, вольные деньки миновали. Осси, очевидно, углубился в себя, но непохоже, чтоб это принесло ему ценные наблюдения. Он замкнулся, утратил общительность. Мы выпили кофе, и я пошел на свой поезд раньше, чем следовало, потому что измучился, неловко подыскивая темы для разговора. У входа на платформу Осси сказал, уставясь в одну точку над моим левым плечом:

- Ты мне не дашь займы пять фунтов?

Вот уж не ожидал: он всегда ужасно не любил брать у других даже всякую ерунду - чернила, конверты - и давать не любил. Держался за свое имущество, как за единственную опору. Я не очень-то рассчитывал на возвращение долга. Встретились мы случайно, и адреса своего он мне не оставил. Это меня не смущало. Что-то сохранялось между нами, какая-то близость, не утраченная вопреки возрасту, перемене обстоятельств и случайности встреч. Несмотря на его небрежность со мной, я почувствовал в ту ночь, что мы остаемся друзьями, что легкие, беспечные отношения могут вернуться когда угодно, где угодно, ни с того ни с сего и можно годами не писать и не видеться. Я часто думал, редкость ли такие узы - совершенно братские - или это вещь обычная. Чем объяснить эту связь, я, понятно, не знал. И до сих пор не знаю. Со многими я ближе и дольше дружил, но привязанность так не скреплялась - ну чем? Участьем? Заботой?

Я дал Осси пять фунтов в итальянских лирах, он, почти не поблагодарив, небрежно сунул их в карман и побрел обратно, в зал ожидания. Багажа у него, очевидно, не было. Я недоумевал, что понесло его в монастырь. Я за него беспокоился. Я до того беспокоился, что чуть не пошел за ним - расспросить, выведать, удостовериться, все ли в порядке. Вид у него не очень-то процветающий, и, не встретить он меня, где бы он раздобыл денег? И действительно ли они ему так уж нужны? Но среди ночи я проснулся в поезде от приступа злости из-за того, что Осси удалось столь царственно взять у меня эти пять фунтов, и снова он заставил меня плясать под свою дуду, как я всегда раболепно, готовно плясал в школе. Но я же не мальчик, мне, слава богу, уже пятьдесят.

И опять он исчез из моей жизни и вот - вынырнул в Венеции, с обворожительной улыбкой склоняясь к капеллану и ловя каждое его слово. Простясь с духовной особой, он заметил меня, слегка вздернул брови и поднял руку. Он не очень удивился и - как типично! - ко мне не подошел, а стал ждать, когда я сам подойду.

- А я и не знал, что ты набожный, Осси.

- Да нет, что ты, милый, ничего подобного, просто, между нами, это полезно. Хоть знаешь, что они по-английски будут говорить.

Он взял меня под локоть и быстро увел в сторону Академии.

- Купи мне аперитив, - сказал он. - Только не здесь. Спрятаться хочется, сам понимаешь.

Я, признаться, не понимал, а хотел бы понять. Я сказал:

- Ты, по-моему, не удивляешься, что меня встретил?

- Ах, милый ты мой, в Венеции всегда на кого-нибудь наткнешься, ты себе просто не представляешь, а мы-то с тобой вообще вечно сваливаемся друг на друга как снег на голову.

Наверное, он был прав, и, кажется, сам я тоже не очень поразился. Зато я поразился, как следует его рассмотрев и вспомнив, как он выглядел накануне на мосту Риальто. Странно, что я вообще его узнал.

Средних лет - он выглядел стариком. Волосы - белые, как лунь, и еще длиннее прежнего - падали на воротник и болтались по лицу, по паутинке красных прожилок. Руки, когда-то тонкие, длиннопалые, изящные, усохли, и суставы распухли от подагры. Но больше всего меня смутила его одежда, это она в основном создавала впечатление запущенности и благородного упадка. Серые брюки ужасно висели на нем и были ему явно не по размеру, а черный бархатный пиджак совершенно проносился на манжетах и вообще предназначался не для улицы, а для театра. Рубашка была клетчатая, мятая и грязная, и к ней - желтовато-белый шелковый галстук. Я разглядывал его, сидя с ним в кафе на Кампо Сан-Барнабо. Солнце светило на длинные волосы, на жалкие, нелепые одежки, будто на свет божий вылез клоун или сценический бродяга. Он, конечно, был нездоров - бледен, как папиросная бумага, и с трудом удерживал стакан кампари в дрожащей руке. И тут во мне поднялась страшная жалость к Осси, вызванная, в общем, любовью, - он же мой друг, мой давний друг, гордый, неудачливый, веселый горемыка, уклончивый и блудный, несравненный.

Мне снова вспомнилось, как он тогда сидел на ступеньках моста Риальто. Он заводил трех или четырех оловянных обезьянок, вонзал им в спины ключ, поворачивал, и они дергались и вертели, вертели педали велосипедов. Ноги прохожих чуть их не задевали, грозя вот-вот раздавить, но мало кто останавливался, а не покупал никто.

Снова Осси молчал, а я говорил о себе - о галерее, о моей книге, я тогда писал о Гуарди, затем и приехал в Венецию, а потом об общем однокашнике, жирном гнусавом малом,



который сделался министром. Осси, кажется, слушал. Он нагнул голову набок, постукивал пальцами по стакану и молчал, и, как тогда, на Миланском вокзале, я снова почувствовал, что он готов отместить всякую мою попытку выведать что-нибудь о его жизни.

Но вот, будто разом одумавшись, он вскочил и вскинул руку типичным своим неотразимым драматическим жестом. Я пошел за ним, и он зашагал впереди, вызываясь подняв голову и, видимо, дерзко отражая взгляды встречных. Мы направились к Дзаттере, и тут было очень тихо, и наши шаги одиноко стучали по плоским, облитым солнцем камням. Тощий рыжий кот смотрел нам вслед из подворотни. Узкий мостик ввел нас в темный тесный проход меж высоких домов. Густой запах канала и сырых стен вполз в ноздри. Осси вдруг стал.

- Понимаешь, милый, там, где красивый вид, очень дорого деру-ут.

Я и сам так думал, но все равно содрогнулся при виде унылого, облезлого дома и жилья на самом верху. Пахло простоквашей, окно упиралось в стену, и потому весь день горел свет - грязная, тусклая, голая лампочка. Мебель тяжелая дубовая мебель - загромождала комнатенку.

На столе лежали коричневый чемодан и светлый завитой женский парик. Я не знал, что делать, признаться ли, до чего все это меня угнетает, или как ни в чем не бывало сесть.

- Нравится мне Венеция, - сказал он бодро. - Тут не надо быть самим собой, понимаешь? Ходи себе в любом маскараде. Погляди хоть на свои картины - всегда так было: карнавалы, переодеванья, подмены, обман. А мне, милый, того и надо, - он повернулся к столу и погладил светлый парик нежно, как голову живой красотки.

Мне хотелось поскорей убежать из этой мрачной дыры.

- Пойдем, Осси, вместе позавтракаем.

Меня тянуло к солнцу, вину, к прохладе, которой дышат каналы, тянуло увидеть, как вокруг смеются, болтают, жуют, увидеть обычные лица, непохожие на лицо Осси, немислимое и восковое под тусклой лампочкой.

- Теренс, ты богатый? Наверное, богатый.

- Ну, не сказал бы, но я не бедный, сам живу неплохо, а больше заботиться не о ком. Дать тебе денег?

Он ответил не сразу. Открыл чемодан, вынул заводную обезьянку, и завертели колеса, заскрипели по-заводному. Осси заворуженно смотрел.

- Красивая вещь. Красивая.

Он ткнул колеса пальцем, и они завертели в обратную сторону.

- Я бы двадцатью фунтами обошелся.

- Я завтра пойду в банк. Могу пятьдесят тебе дать, если это тебя выручит.

- Мне, знаешь, что нужно, - сказал он задумчиво. - Хочется развлечься, милый ты мой. За квартиру я могу заплатить и за всякую эту дрянь. Просто хочется развлечься.

Я не понял, какого рода развлечения он имеет в виду и хватит ли на них пятидесяти фунтов. Но неважно. Я хотел помочь Осси, а дальше уж его дело.

Мы пошли в таверну и позавтракали жирными омарами, телятиной, персиками. Осси один

выдул больше бутылки вина и под конец стал всюду веселиться - разудало, с нажимом, в общем, довольно мрачно. Но я за него радовался: может, с моей помощью ему удалось немного "развлечется".

Потом, в толпе туристов и венецианцев, мы побрели к пьядце и, наслаждаясь роскошным кофе Куадри, слушали Золотой и Серебряный вальсы.

- Прекрасный город Венеция, - сказал я, смакуя приятную сытость, тоску по молодости и выпитое вино, - самый наипрекраснейший.

И тут Осси заплакал, сперва беззвучно, а дальше - в голос, и слезы потекли по старым щекам, на белый галстук. Потом он спрятал лицо в ладонях. Я не знал, что сказать, чем ему помочь. На нас стали озираться с соседних столиков, и я чуть в драку не полез, так мне хотелось его защитить.

- Ничего подобного, - выговорил он наконец. - Ничего в ней хорошего. Ты меня понимаешь, а, Теренс? Ничего хорошего.

Естественно, он выпил слишком много. Ну и что же? От этого только прояснилась та горькая истина, что по каким-то ужасным причинам Осси несчастен, заброшен и нищ. Конечно, он никогда не отличался особым умом, но как он дошел до того, чтоб продавать туристам заводные игрушки или, нацепив белокурый парик, топтать ногами мосты обманной Венеции?

- Толку не будет, если я сейчас дам тебе денег, - сказал я. - Нет, я придумал кое-что получше. Мне надо еще на недельку тут задержаться из-за работы, а потом я увезу тебя в Лондон. Найдем тебе там квартиру. Хоть будешь среди своих, кто-нибудь за тобой да присмотрит.

Он вскинул на меня глаза. Они покраснели, лицо все сморщилось, мокрое от слез.

- Ненавижу, - сказал он тихо. - Господи, до чего я ненавижу этот говенный город.

Ругательство, такое неожиданное в его устах, вдруг выразило все тоску, отвращение, ужас. Венеция прекрасна, она обворожительна - на беду тому, кто, как Осси, болен, беден и одинок. В эту минуту я тоже ненавидел прелестную пьядцу, пышность золота и камня, нарядную красочность мостов.

- Я увезу тебя в Лондон.

Осси тщательно вытер слезы.

- Милый ты мой, мне дико хочется выпить. Неужели ты не понимаешь, до чего мне хочется выпить?

Я заказал коньяк и увидел, как сарказм и царственная снисходительность снова прикрыли маской его подлинное лицо.

К сентябрю Осси вернулся в Англию и, как только обосновался в двухкомнатной квартирке на Эрлз-Корт, исчез с моего горизонта. Я на него не обижался. Он был страшно гордый, а я неминуемо напоминал бы ему о позорных днях в Венеции. Несколько раз я приглашал его обедать, он не отзывался, и я от него отстал. Теперь он был под боком, и я успокоился - в случае чего он знал, где найти меня и других старых друзей.

На следующий год я видел его дважды. И при каких несхожих обстоятельствах, в каком разном виде! Как-то вечером я выходил с подругой из Ковент Гардена. Давали "Евгения Онегина". Была не премьера, даже не суббота, и большинство публики оделось элегантно, но не торжественно. Вдруг Элеанор тронула меня за руку.

- О, приятно, что хоть кто-то еще старается!

Глаза у нее блестели. Нас обгоняли двое, молодой и старый, в вечерних нарядах, синих камзолах, жабо, подбитых шелком плащах. Как будто явились из Парижа прошлого века. Лицо молодого показалось мне смутно знакомым наверное, лорд, цветущий, толстогубый и с ранней лысиной. Рядом с ним в вихре седых косм вышагивал Осси. В дверях фойе он оглянулся и меня увидел. Секунду он смотрел мне в лицо, потом, будто не узнав, прикрыл глаза и двинулся дальше.

Прежде всего я обиделся. Осси достаточно меня знал, чтоб понимать, что я не стану допытываться, с кем он ходит, и огорчаться из-за перемены его фортуны. Вдобавок я обозлился. Выходит, я уже для него не гожусь? Но ведь я понимал, что все это - одна гордость. Бог с ним, пусть радуется.

В ноябре, вечером, я рассматривал рентгеновские снимки голландского портрета семнадцатого века, когда раздался звонок. Звонили из полиции под Ноттинг-Хиллом. Осси задержали, и он дал мой телефон.

Я обнаружил его на скамье в допросной, под обколупанной стеной и лампочкой, напомнившей мне комнатенку в Венеции. Осси дали чашку чая. Но он ее еле держал, ложка стучала по блюдечку, так тряслись у него руки. Вид у него был пугающий - исхудалый, затравленный, ужасно старый. На щеках щетина, одет как бродяга. Но вот он повелительным жестом пригласил меня сесть, и я почти узнал прежнего Осси.

- Они очень вежливые, но все же какая ме-ерзость! Я к таким вещам не привы-ык.

- В чем тебя обвиняют?

Осси отмахнулся рукой от моего вопроса.

- Не пойму. Чушь какая-то.

Он явно не был пьян. Я спросил его, где он живет.

- Теренс, ты бы разобрался в этом деле, а я бы домой пошел, рухнул в постель. Я просто изнемога-аю.- Он взглянул на свою чашку. - Милый, это гадость ужасная. Ты же знаешь, я не выношу индийский чай.

Я пошел к инспектору. Осси обвиняли в том, что он приставал к прохожим и пререкался с полицией. Я взял его на поруки - с тем, что завтра он явится в суд, - и повел домой.

Комната в Венеции наводила тоску. Эта оказалась еще хуже - тесная дыра в захудалом обваливающемся квартале. Ванная и уборная - на десять человек, газовая плитка - на четверых. Окно и пол грязные, на столе и постели одежда, объедки, невымытые чашки, газеты. Тот же коричневый чемодан опять был на столе, открытый, и в нем заводные игрушки, уже другие - ярко-желтые уточки на железных лапках.

На подоконнике стояла недопитая бутылка виски.

- Чистого стакана не видно, может, выпьешь прямо из бутылки?

- А я всегда так пью.

Он рассеянно взял одну уточку и завел, и она косолапо задергалась по столу.

- Тут такая тоска, ты себе не представляешь, мой милый, в Венеции куда лучше было. Английские полицейские просто хамы. Я стоял на Оксфорд-стрит. Сейчас, перед рождеством,

я бы мигом все распродаю, так нет же, выгнали. Изво-о-дят человека.

- Деньги-то у тебя есть?

- Ах, милый, не ломай ты себе над этим голову, я ищу рабо-оту. Я вчера узнавал. Только б сперва уладить эту глупость. Может, вон то получится.

Он ткнул на газету, я взял ее в руки. Большому магазину требовался дед-мороз.

- Ох, я бы развлекся, правда? Прелестная красная шуба...

Я смотрел, как, тряхнув головой, он снова прикладывает к бутылке. Он знал не хуже меня, что никакой магазин не станет его нанимать в таком виде.

- А что с квартирой на Эрлз-Корт?

- Ах, милый ты мой, я давным-давно оттуда съехал, я ведь там жил с одним приятелем, ну и, знаешь, молодежь пошла ненадежная. Не замечал? Мы, в общем, разругались. Да мне там и не нравилось. Полно не наших.

Я нахмурился.

- Милый, я же не про черных, их и тут полно. Они мне не мешают. Нет, я про австралийцев. Грубые - ты себе не представляешь.

Наверное, я бы мог в ту ночь больше для него сделать. Теперь я себя ругаю, каждый день я думаю о нем и себя ругаю. Надо было вытащить его из загаженной комнаты, не отпускать, привести в божеский вид. Конечно, он уже тогда заболел, и, конечно, нормальная еда, приличная одежда и вниманье, простое человеческое вниманье спасли бы его хотя бы от унижений. А я не мог. Сидя по уши в дерьме, Осси напыщенно тешился самообманом, и я не мог этого вынести. Я оставил ему все деньги, какие у меня были с собой, и обещал завтра подкинуть еще. Легко отделяваться деньгами! Назавтра я пошел с ним в суд, уплатил за него штраф и чуть не заплакал, глядя на его лицо, когда судья высказывал ему все, что он про него думает, в мрачной, голой комнате при свете дня. Осси - это же Осси, и мне его было жалко.

Больше, в общем-то, и рассказывать нечего. По всяким личным причинам и из-за того, что в галерее была куча работы, я совсем замотался и почти месяц не видел Осси. Я уговаривал себя, что теперь ему есть на что пообедать и утешиться виски. Вот будет время - вытащу его из ужасной комнаты, подыщу ему что-нибудь почище и поприятней. Но, конечно, не того хотелось Осси, теперь-то я знаю - да и тогда знал, - ему хотелось дружбы, общенья, хотелось развлекаться.

Когда я, наконец, выбрался в Ноттинг-Хилл, оказалось, что он уже несколько дней как болен и лежит совершенно заброшенный. Мне стало ужасно стыдно. Уже в больнице с ним случился удар, и только он немного оправился сразу второй, после которого он лишился речи и его разбил паралич - одни руки еще шевелились и веки. Как-то вечером я у него сидел. Лило, и все небо обложили топкие облака. В тесной палате были умирающие старики. По-моему, Осси их не замечал. Он лежал неподвижно, одна сторона красивого лица исказилась, вытянулась, и оттого как никогда казалось, что на лице у него маска.

Потом он начал как-то урчать и показывать рукой на тумбочку у изголовья, где стояло зеркало. Я дал его ему, хоть и считал, что лучше бы ему на себя не смотреть. Но он только удивился. Долго смотрел, а потом строго склонил голову, будто приветствуя незнакомца. А когда поднял глаза на меня, я понял, что он и меня не узнает. Он точно так же склонил голову.

Через два дня он умер. Устроив похоронные дела, я поехал к нему.

При дневном свете комната оказалась еще хуже, чем мне запомнилось, еще более грязной, облезлой. Среди прочих вещей я нашел чемодан со старомодными, пышными женскими тряпками - возможно, из сундука саффолкской тетки: вечерние платья, шифоновые шарфы, шелковые чулки. И еще два парика кроме того, белокурого. В другом чемодане лежала собственная его одежда - бархатный пиджак, белый шелковый галстук и еще кое-что: вечерние рубашки, дневные, индийский кушак, кашемировый халат и домашние туфли ручной работы. Это уж он то ли купил на распродаже, то ли получил в подарок от кого-то из недавних неверных друзей. От старья пахло затхлостью и потом.

В трех картонных ящиках были свалены заводные игрушки - обезьяны, уточки, пляшущие медведи, серые мыши, цирковые фокусники, моржи, жонглирующие мячами на носу. Когда я до них дотрагивался, кое-какие, с остатками завода, начинали скрипеть, греметь, и вертеться, вертеться колеса, прыгали лапы.

Через несколько месяцев выяснилось, что у Осси нет родственников, и его вещи достались мне. Тряпье я почти все выбросил, оно уже никому не могло пригодиться, а игрушки передал в детскую больницу. Но одну обезьянку-велосипедиста я оставил себе. Так она и стоит у меня на письменном столе. Я завожу ее, и она крутит, крутит колеса, как тогда - в Венеции на мосту Риальто. У нее нелепая хохочущая морда и ярко-розовые лапы. Она ужасна. Она - живое напоминанье об Осси.

Самервил

При одном виде конверта он ужаснулся. Он теперь не получал писем только хозяйственные счета да квитанции или вдруг рекламный проспект. Так он и задумал - укрыться и чтоб никто не мешал, чтоб его забыли. Чтоб никаких писем. Он ужаснулся при виде конверта.

Надо было как-то успокоиться, и он пошел к своему письменному столу, достал то - другое - письмо. Он сидел на террасе под ранними утренними лучами и чувствовал на руке тяжесть письма, и снова он мучился.

Читать не надо было - он наизусть его знал, но все равно он стал читать, и очертания букв на листке облегчали, будя давно затверженные чувства. Лучи уже жарко падали на лицо, хотя еще и десять не пробило. В эти дни вообще было жарко.

"Самервил" - так оно начиналось, письмо двадцатисемилетней давности. "Самервил". Будто вернулись к официальности свежего знакомства и надо откинуть непринужденное обращение по имени. "Самервил". Он поглядел вверх, на солнце, вспоминая, как это было, как он, сидя за письменным столом у себя в Уайтхолле, увидел собственное имя на измятом листке, а уже знал, уже два месяца знал, что Бартон нет в живых. "Самервил"... Он тогда ужаснулся при виде конверта. Сент-Джеймский парк за высокими окнами, и сине-стальное небо, лучи января подпалляли озеро, утки, нахохлясь, мелькали за голыми стволами. "Самервил"...

И вот он снова вынул письмо из конверта, и развернул, и снова понял, что ничего более страшного с ним никогда не случится, и никогда больше вид строк на бумаге не причинит ему такой боли.

"Самервил,

много писать не могу. Не могу думать. Пальцы почти совсем отнялись - то есть отморожены. Пухнут и немеют. А хуже всего, когда держишь кружку горячий чай, - начинают отходить, и тогда невыносимо, лопается кожа. Тут ни о чем не помнишь, только проклятый холод, и надо двигаться, двигаться, переступать ногами. Когда могу, вспоминаю тебя. Прости.

Послушай, вчера мы откопали Льюиса Хайтена. Мертвого. Он зачоченел, он провалился по грудь, а так долго не продержишься - минут десять, пятнадцать? Не знаю. Наверно, упал. Тут ничего не замечаешь, ни о чем не думаешь, кроме себя. Мы к нему вернулись. Откопали его, а он мертвый. Может, тебе это интересно. Хотя сколько уже нас перемерло. Господи, да кто остался? Ты, наверно, остался. Не знаю. Письма сюда не доходят.

Писать не могу, не могу больше, не могу держать ручку, но я тебе скажу, что такое ад, там не жар, там стужа, ад - эта треклятая мерзлая страна. Знаешь, хочется лечь и послать все к черту. Это не разрешается. Но, может, он так и сделал? Льюис Хайтен? Может. Не знаю. И не знаю, насколько мы застряли, нам ничего не говорят. Все равно нам конец. Кажется, дело дрянь, кончается еда. Но кто его знает, да и не все ли равно, можно думать только о себе, о том, чтоб переставлять ноги. Вчера один заключенный сошел с ума, схватил консервный нож, его пристрелили. Данкерли его пристрелил. У него были странные глаза, каштанового цвета. Не идет из головы. Данкерли его пристрелил, а мне он запомнился, и он мне снится, мне снится этот каштановый цвет. Такая запоминается чушь. Я стал другой, ты б меня не узнал, меня не узнать - после этого.

Писать не могу, пальцы немеют, а на левой руке вообще не шевелятся, совсем отнялись. Просто я подумал, тебе интересно про Хайтена. Он ведь на пианино играл, да? Которое у тебя стоит. Чушь какая-то лезет в голову. Хайтен на пианино играл. Не надо бы его откапывать, правда, оставить бы его, как есть, и все.

Холодно. Господи, холодно".

Больше Самервилу не хотелось получать писем. И это, сегодняшнее, было не нужно ему.

Вскоре после того как он сюда переехал, шесть лет назад, он понял, что уже не помнит, какое у Бартона лицо. Когда-то была фотография, они снялись втроем, Бартон, он сам и Льюис Хайтен, который зачоченел в снегу, они стояли в неловких позах, в теннисных костюмах, повязав вокруг шеи рукавами белые свитера, держа в длинных руках по ракетке, и у всех троих были странно похожие лица, живые, тощие и расплывчатые, а волосы у всех вышли густыми и светлыми. Но от фотографии этой было мало проку, Бартон там был не похож, а потом он ее потерял, или сжег, или выбросил - теперь уж не вспомнить, и осталось только письмо, пришедшее как с того света через два месяца после смерти Бартона.

В день своего рожденья, когда ему стукнуло шестьдесят и он уже вышел на пенсию и здесь обосновался, он вдруг вообразил Бартона живым, страдающим подагрой, подслеповатым и седым, и это было страшно. Правда, потом он успокоился, потому что Бартон умер, и значит, он не мог измениться, остался прежним навсегда. Только представление о нем, как само его тело, рассеялось, распалось в памяти у Самервила. Иногда он перечитывал то письмо.

"Самервил"...

Он всю жизнь хотел поселиться в этом доме. В первый раз он увидел его, когда приехал знакомиться с братом деда, знаменитым генералом. Отцовская машина въехала в высокие ворота, и в конце длинной подъездной аллеи среди буков мелькнул розовый кирпичный дом. Машина была допотопной марки, плохо брала подъемы, он всегда ненавидел ее - и сидел на переднем сиденье на коленях у матери напряженно, словно на спине у какого-то чудовища. Но в тот солнечный день, пока жуткая машина одолевала один за другим лесистые холмы Чилтерна, он понемногу успокаивался и примирялся с нею и с отцовской рукой на руле, как можно успокоиться после того, как ты долго оглаживал дикого зверя. А потом он увидел ворота и увидел аллею в их черной резьбе, и сад, и террасу, и розовый кирпич, и просвет озера, и дымовые трубы, как в сказке. Машина ехала медленно-медленно, и он успел все разглядеть, и это было даже лучше, чем идти пешком, кое-что не удавалось разглядеть, сохранялась дистанция.

Впрочем, эти подробности уже потом, наверное, дорисовало взрослое воображение. Во всяком случае, ему ничего не запомнилось про тот день, про визит к знаменитому генералу. Запомнилось только, что отец в кои-то веки развеселился, да еще вот медленно наплывающий в черной резьбе ворот дом в конце подъездной аллеи.

Много лет спустя как-то летом они с Бартоном ежедневно тут бродили, искали это место. И когда, наконец, нашли, он застрял у ворот, не подошел к дому, чтоб не выведать ненароком раньше времени его тайн. И он вернулся в Оксфорд, а потом в Лондон, к своей математике - разумным, скромным аскетом, поклонником симметрии и ясности, блаженно убежденным, что на свете существует пять правильных геометрических тел, не больше и не меньше, романтиком.

И когда, незадолго до своего шестидесятилетия, он вдруг прочел, что дом продается, он не удивился, купил его и бросил все свои посты, ученый совет, комитеты и консультации. Не смутило его и то, что дом ему достался куда раньше, чем он вообще-то собирался уйти на пенсию, эти лишние годы он счел непредусмотренными процентами разумно помещенной жизни.

Он предоставил все хлопоты, связанные с покупкой, доверенному лицу, а сам оставался в Лондоне с тем, чтоб, как только выйдет на пенсию, тотчас въехать в высокие ворота и переступить порог розового кирпичного дома. Он думал: "Теперь до конца жизни мне нечего больше желать, у меня есть все". А в нагрудном кармане у него хранилось письмо Бартона, которое он знал наизусть.

У меня есть все.

С того дня он больше не хотел получать писем. Он и получал их немного.

Под вечер он спустился по склону к озеру в тылу дома. Озеро сделали в старой каменоломне лет сто назад, когда дом уже давным-давно стоял, и зарыбили молодью на радость гостям-рыболовам. Теперь никто не пугал рыбу. Озеро было маленькое, и сразу по берегу его обегала полоска травы, а чуть повыше кругом обступили буки. Зимой меж светлых стволов с озера виден был дом, а по другую сторону, отступя на милю, - деревня. Но теперь все заслоняла плотная многослойная зелень. В озере была совершенно тихая вода. Тут, под деревьями, копился дневной жар, и к вечеру воздух над водой зыбился и создавал причудливое освещение.

Самервил сел, и снова напомнило о себе письмо, жесткое, в нагрудном кармане. Он еще не вскрывал его, он ужаснулся при виде конверта.

Он думал: "Нет, ничего, больше уж ничего не случится, ничего, ничего, никто не объявится".

Если прикрыть глаза, озеро расплывалось и таяло вдалеке, и ему не было конца, и было жаль, что дальний берег прячет свои секреты.

Солнце катилось все ниже и подпаляло воду.

И неотвязно, как всегда, вспоминалось погребение Скильда Скевинга из "Беовульфа".

Это Бартон в Оксфорде приохотил его к чтению, он заходил к Самервилу, когда тот отлучался, и, оставя на письменном столе книгу с закладкой на какой-то главе или странице, всегда умел его удивить. Сперва он читал нехотя, через силу, четкость цифр занимала его куда больше, чем неуловимость бегущих по строкам слов. Но постепенно он втянулся, и он всегда дочитывал книгу, увлекшись подсказками Бартона и желаньем узнать, чем разрешится сюжет, как раскроются характеры. Дочитывал он книгу еще и потому, что ничего не умел бросить, не мог бросить на середине даже совсем слабый роман, его бы потом мучила эта

незавершенность. Но совсем слабых романов Бартон ему не подсовывал.

Уже после он понял, что слова выстраиваются в таком же нерушимом и четком порядке, как цифры, и он увлекся, стал заглядываться на витрины букинистов, отважился сам выбирать, а Бартон качал головой и, довольный, тихонько посмеивался.

"Беовульф" сразу его захватил, и на всю жизнь застряла в памяти и нет-нет всплывала картина: Скильда Скевинга, мертвого короля датчан, кладут на корабль вместе со всеми его сокровищами и отправляют по волнам в неведомый путь.

Над головой державной укрепили

стяг золотой и тело

волнам предали.

Мысль о крематории или о кладбище с тех пор претила ему. Куда лучше так - корабль на волнах. И мысль о почестях его волновала. "Стяг золотой, говорил он Бартону, когда имя его в математике стало известно, когда стали помогать его суждения. - Стяг золотой, будь любезен, запомни!" Бартон улыбался и качал головой - независтливый человек.

Сейчас эта картина часто всплывала в мозгу у Самервила ни с того ни с сего, варил ли он утром кофе, подстригал ли кусты или смотрел на ежа, и он вздрагивал, сообразив, что снова перед глазами у него погребальный корабль, медленно пересекающий волны, - стяг золотой.

Он думал: "У меня есть все, я один, никаких писем, никто не является, у меня есть все, но вдруг я не снесу этого, не снесу отсутствия горестей и забот, вдруг я рехнусь?"

Но он тревожился не всерьез.

Снова озеро потемнело, только кроваво краснело пятно посередине. Он расправил затекшие ноги и подумал, что пора снова взбираться по склону, зажигать лампы, стряпать макрель на ужин, что скоро придет еж.

И тут он услышал шаги в траве. И тотчас же он вспомнил опять про нераспечатанное письмо.

Она бывала тут и прежде, раз пять, наверное, за эти шесть лет, но никогда не ходила с этой стороны, всегда по подъездной аллее, и оставляла у черного хода припасы из лавки. Вообще-то их возил ее отец, маленький, важный, в старом зеленом фургоне. Или брат. Самервил ее видел иногда в лавке, когда являлся заказать продукты, а то издали, когда она шла по улице либо по шоссе к автобусу. Это были люди очень далекие ему, скучные люди, он желал им добра, но их не понимал. Он знал, что девушку зовут Марта, и несколько недель назад он заметил, что она беременна. Заметил и сразу забыл. Он тут один, у него дом, все, что нужно ему. И никто не приходит. Она сказала:

- Вот где рыбу-то удят.

Самервил неловко поднялся, ноги у него затекли и промокли, и он испугался, он гадал, зачем она пришла. Он ничего не мог выговорить.

Солнце совсем закатилось, и в потемневшем воздухе держалось тепло и пахло листвой.

- А вы-то сами?

- Я?

- Рыбу-то удите? Все время небось, а?



- Нет. - Он помедлил. - Нет.

Она засмеялась:

- Значит, только вы один и не удите!

- Сюда никто не ходит. Некому рыбу удить.

На лице у нее сияла ласковая усмешка. Самервилу стало неприятно, неловко.

- Много вы знаете!

Он дергал подкладку карманов, ему хотелось, чтоб она ушла, не хотелось разговаривать.

- Кто только сюда не ходит. Вы не поверите! Все! А вы и не знаете. Надо же!

- Но кто?

- Да так, люди разные. Из деревни парни.

- И удят?

- А что?

Он сказал:

- Нет. - И он покачал головой: - Я никого не вижу.

- Ну так и станут они у вас под окнами плясать, они потише стараются. Это ж вроде игры. Как браконьерство. Только они думают - вы знаете. Все думают.

- Я решительно ничего не знал.

- Ну, а теперь небось разгоните их. - Она надула губы. - Собаку заведете.

- Я не люблю собак.

- Ну чего-нибудь придумаете. Разгоните их, кончится их забава.

Он посмотрел на озеро, подумал. Потом сказал:

- Мне все равно. Мне все равно, кто удит рыбу. Мне рыба не нужна. Не в рыбе счастье.

- Больше-то они ничего не тронут, вы не беспокойтесь, они вас не ограбят, что вы! Они только насчет рыбы, а не то чтоб воровать.

- Да о ком речь? - он повернулся к ней и вдруг пристально посмотрел на нее.

- Ну, люди. Сказала же. Ребята из деревни. Бывает, и Дейв. Теперь-то уж редко, вырос, другие дела у него. А раньше удил.

- Ваш брат сюда ходит?

- Да.

- А вы?

- Мне-то зачем? Им рыба тоже не больно нужна. Они не из-за рыбы. Это вроде игры, я ж сказала, интересно сюда пробраться, сесть на берегу, кой-чего повытащить из вашего озера.

Рыбу-то они потом почти всегда снова в воду бросают. Приходят по ночам. Это так просто. Забава одна.

- Ну да...

- Дура, и зачем я вам сказала? Вы теперь тут проволоку протянете, чтоб никто не ходил, я уж знаю.

- Нет.

Она промолчала. Он почувствовал, что она смотрит на него, изучает его лицо, одежду, волосы, позу, размер и форму ног. Ему сделалось не по себе, он не хотел, чтобы на него смотрели.

Он сказал безнадежно:

- Мне до них нет дела, пусть развлекаются как хотят. Лишь бы мне никого не видеть. Лишь бы меня не трогали.

Вдруг он с ужасом представил себе, как толпы незнакомцев, ломая кусты, аукаясь, голося, набегут с удочками и лесками, с зелеными зонтиками, будут жечь костры, пить на берегу, хлынут к дому, вломятся в комнаты, нарушат его одиночество, его покой. Бог уж с ней, с рыбой. Он смотрел на девушку, на эту Марту. Она усмехалась.

- Не беспокоят они вас. Вы-то им зачем? Сами говорите - не слышали их и не видали. Да они и редко ходят. Не беспокоят они вас.

Когда он сюда приехал, она играла во дворе возле лавки и ходила в школу, она была тогда девчушка, стриженная, с прямыми, плотными ножками. Кажется, недавно совсем, несколько месяцев, а ведь шесть лет пролетело. Но она и теперь была очень юная, в лице, нежном и пухлом, еще не проступил костяк, только что-то новое в выражении, искушенность какая-то, и в уголках глаз затаилась усталость. Она осталась без перемен, незатронутой, а ребенок, которого она вынашивала, был как бы не частью ее самой, а всего лишь вздутием, посторонним грузом, как сумка. Разродившись, она будет прежней. Ей лет семнадцать на вид.

Она вдруг шагнула к самому берегу и, держа руки в карманах желтого платья, стала смотреть на воду.

Она сказала:

- Я б так не могла.

Самервил не ответил, он уже снова думал о доме, незажженных лампах, о том, что пора ужинать. Пора ставить ежу молоко, сидеть и ждать на террасе. Лучшее время дня.

- Они никак не уймутся, знаете, потому я к вам и пришла. Не могут, видно. Перемалывают, пережевывают, а ведь сто раз говорено. Уж и не знаю, о чем говорить будут, когда я разрожусь, вроде не о чем больше, а? - Она быстро глянула на него: - О вас разве что.

- Обо мне?

- Ой, про вас-то они говорят. Вы как погода - всегда поговорить можно.

Он удивился и рассердился - что за интерес говорить о нем? Он совершенно отъединен ото всех, и зачем эти люди думают о нем, треплют его имя? Чувство было такое, будто его рвут на части и крошат, как хлеб уткам.

- Чего ж удивляться? Вы не такой, как все, вы тут ни на кого не похожи. Они вас все не раскусят, все гадают, что у вас на уме. Да я и сама вроде тоже. Тоже гадаю.

Она водила носком туфли по траве. На них налетел ветер, взъерошил в озере воду, Самервил поежился, ему стало не по себе.

- Ну, а сейчас-то у них есть я, это ж интересней, я с утра до вечера при них, на глазах, вот они никак и не уймутся. Вам-то хорошо. Вас они почти и не видят.

- Да.

- Хорошо б все поскорей кончилось. Хоть бы поскорей.

Он недоумевал, он думал: "Я ничего не знаю. Но я и не хочу знать".

- Я сегодня про вас думала, - сказала она. - Я вообще последнее время все про вас думаю. Чудно. Раньше почти не думала про вас никогда.

- Вы ничего обо мне не знаете. - Он произнес это с нажимом, ему важно было, чтоб никто про него не знал.

- А все ж хотела б я быть на вашем месте. Жила б тут одна-одинешенька, делала б что хочу. И никто не скажет - не делай этого, и от кого это ты, и что с тобой теперь будет, и что я тебе говорил, и что люди скажут? Вы-то ничего такого не слышите, вот я и подумала, хорошо б так пожить, одной совсем, как он. Мне б тогда на них на всех наплевать. Вот хорошо-то.

Самервил улыбнулся:

- Да.

- Только я б не могла. Я не такая.

Он покачал головой, он не понимал ее, и он ужасно устал от ее болтовни, вопросов, ответов, желаний, он уже несколько лет ни с кем так долго не разговаривал.

- А вы с ума-то не сойдете? Не тоскливо вам?

Но она не стала дожидаться ответа.

- А я б не могла. В том-то вся и загвоздка. Вот уж думаю, бывает, уйду, уйду, куда глаза глядят. От них от всех подальше. Только я б спятила. Я б спятила, если б жила одна в таком большом доме, где не с кем слова сказать и дел никаких.

- О, дел тут хватает!

- Какие? - взгляд у нее стал цепкий, как у обезьянки. - Какие тут дела?

Самервил неопределенно взмахнул рукой и не отвечал, прикидывая в уме, какие у него дела. Он думал: "Никаких, я почти ничего не делаю, ну, читаю немножко, перечитываю книги, которые уже читал, возжусь в саду, гуляю, бездну времени я убил на ежа, я стряпаю, мою, чищу, я сплю и сижу на солнышке. Вот и все. Ничего".

- Они думают, вы в хлеву живете. Вы ж никого даже из деревни не позовете прибраться. Все думают, у вас тут грязища.

Он рассердился:

- Я чрезвычайно брезглив. Я чист и опрятен, я этому придаю большое значение.

- Ой, ну ясно. Я ж вижу. Довольно на вас посмотреть. Я-то никогда ничего такого не думала.

Почти совсем стемнело, небо над рощей было чуть-чуть светлей, чем вода в озере. Летали мотыльки.

Самервил сказал:

- Вам пора домой.

- А чего мне?

- Нет-нет. Нельзя ходить одной среди ночи по лесу, вам пора домой. Подумайте - мало ли что может случиться? Больше вам тут не стоит задерживаться.

Он смутно представлял себе правила поведения юных девиц и опасности ночного леса, но помнил давние наставления матери и сестры.

Она засмеялась и заговорила уже другим тоном, умудренно, иронически, по-взрослому, и снова ему стало не по себе:

- Ну, со мной теперь уж вряд ли что может случиться, а? По крайней мере, покамест.

И она засмеялась опять, и озеро, буки и небо отозвались на ее смех дружным эхом. Самервил резко повернулся и зашагал прочь. Но почти тотчас остановился - может быть, следовало ее проводить до шоссе, отвести домой, как-то проявить к ней внимание? Она совсем ребенок, и нельзя бросать ее одну.

Но когда он оглянулся, ее уже не было. Платье, лицо, ноги и руки только что белели во мгле, а теперь под буками залегла сплошная темень, и уже трудно было различить на траве то место, где она стояла.

Он снова зашагал к дому. Радость улетучилась, вовсе не хотелось сидеть на теплой террасе и ждать ежа, не хотелось стряпать макрель, вдыхать ее сочный запах. На душе было тоскливо.

"Про вас говорят..."

Все же он зажег лампы, достал рыбу, налил молока в синее блюдечко, накрошил туда хлеба.

Но он нервничал, просидел на террасе всего минут пятнадцать - двадцать, и впервые за несколько недель еж не пришел. Правда, может, он потом приходил - кто-то приходил, потому что утром блюдечко оказалось пустое.

Проснувшись незадолго до семи, он снова вспомнил о нераспечатанном письме.

Солнце уже пекло. Он спустился на кухню, вскипятил воду, сварил себе кофе, а потом пошел опрыскивать розовые кусты - против тли.

В тот день не было почтальона, не было писем.

Еж уже два вечера не приходил. Самервил сидел на террасе и мучился. Что-то случилось, нарушился заведенный порядок - все из-за этого ужасного письма. Он запрятал его в самый дальний ящик стола, поглубже. Он его не раскрыл.

Он распахнул все окна, он ел, читал и спал на террасе, сидя в расстегнутой рубашке. По утрам воздух пахнул Луарой. Но покоя не было. Еж являлся к нему ежедневно, с самой середины апреля - и вдруг исчез.

В конце концов он прошел в глубь сада, туда, где стояло дерево с дуплом. Там он увидел комочек, облепленный листьями, может, это был спящий еж, но он не стал его тревожить, чтоб окончательно не спугнуть. Как-то раз он видел его среди бела дня, еж лежал на травке возле сарая, нежился на солнышке. Самервил поменял еду в голубом блюде, сварил пахучую рыбу. Он старался угодить прихотливому вкусу ежа, еж всегда издали принюхивался к голубому блюду, вытягивая розовое мокрое рыльце.

Но снова еж не явился. Чтоб развеяться, он раскрыл наугад книгу японских стихов.

Мой парус летит

по синим быстрым волнам

в даль, синюю даль,

и кричит надо мною

одинокая птица.

К полудню температура поднялась до двадцати семи градусов, земля на лужайке потрескалась. Он несколько часов подряд поливал кусты розы "Альбертины", розовым снегом опушившие забор с южной стороны сада.

Когда она снова пришла, он сидел, утонув в шезлонге, ничего не делал, ни о чем не думал. Он не слышал шагов. Лужайка, буки и небо расплывались и сливались во что-то сине-зеленое и неясное, как размытая акварель. И вот в конце тропки встал бледный очерк девушки.

С самой смерти Бартона его во сне мучили призраки, они вставали из туманов, из вод, из тихо летящих снежинок. Всякий раз, спускаясь к озеру, он боялся, что вдруг увидит что-нибудь - руку, держащую меч короля Артура. Несколько образов преследовали его наважденьем. Как погребальный корабль короля датчан. Ужасно. Бартона нет - вот уж кто высмеял бы его.

Сейчас он вскочил, опрокинул валкий шезлонг, и больше всего ему хотелось бы свернутой в трубочку газетой прогнать эту девчонку, как назойливую муху, накричать на нее. Он вспотел от огорчения - ходит, выследила, пронюхала.

"Я покончил счеты с вашим миром, переехал сюда, выбрал это место, да оставьте вы меня в покое, забудьте обо мне".

- Здесь попрохладней будет.

Самервил нагнулся и стал возиться с шезлонгом, но непослушные ножки разъезжались и вздувалась ткань.

- Нравится мне ваш сад.

Он сложил шезлонг, уронил, снова начал ставить.

- Цветы мне нравятся. Как их? Вот эти голубенькие?

- Шпорник.

- Мне нравится.

На терновом кусте в дальнем конце лужайки вдруг запела пеночка-весничка.

Он все еще стоял, как мужчина стоит, пока вошедшая в комнату дама не сядет. Но он хотел,

чтоб она ушла.

- Мы сюда после уроков бегали, бывало, все вместе. Тут никто не жил, да? Целое лето никто не жил. Трава - по пояс. Давно, правда, это было.

- Нет, всего шесть лет назад.

- Ну так!..

Он смотрел на нее. Когда она родилась, я был уже немолод, Бартон давно умер. Все лучшее было уже позади.

- Нравится мне тут.

Самервил тяжело опустился в шезлонг. Она напомнила ему маленькую дочку его соседей в Лондоне. Их сад граничил с его садом, и поломался забор, и девчушка взяла манеру забираться в сад к Самервилу, подходить к высоким незанавешенным окнам кабинета и засматривать внутрь. Если он выходил посидеть в саду, она вставала в нескольких шагах от его шезлонга, молчала, ничего не спрашивала, просто глазела, и под этим ее взглядом он не мог ни дышать, ни двигаться, и он предпочитал торчать взаперти, он купил жалюзи и опускал их прямо у нее перед носом, с ненавистью. Вдруг однажды он понял, до чего он ее ненавидит, и его охватило отвращение к самому себе, и ему стало стыдно, ведь девчушка к нему не приставала, не шумела, ничего не трогала. Просто подходила и глазела с совершенно застывшим личиком.

И он продал тот дом.

- Бабка моя скоро кончится.

- Ваша... простите?

- Бабка. Да вы ее знаете, видали ее в лавке. Ее все знают.

- Нет...

- Она с нами живет. Жила, в общем. А теперь ее в больницу пришлось отдать в Ситтингем. Не выдержали.

Она села на ступеньку террасы, выставив длинные тонкие ноги из-под желтого платья.

- Я думала, мне все равно будет. Ну - старая она, всем ведь когда-то помирать надо, верно? А пойдешь к ней, посмотришь на нее - и на душе кошки скребут. Как звонят, что, мол, уходить пора, она давай одеяло сбрасывать, встать норовит. "Где одежда моя, где одежда моя?" Я уходила - так прямо еле удержали ее. И на душе кошки скребут, вот ужас-то, уходишь оттуда и живешь себе дальше, и все по-прежнему, а ей там лежать и помирать. А в такую погоду даже как-то еще хуже - ведь на солнышке все особенно живое, верно?

Самервил думал: "Не говори ты мне про это, мне все равно, не хочу я слушать про твою бабушку. Я про это думал, решал этот вопрос и сто лет назад его решил - вопрос о жизни и смерти. С этим покончено. Не хочу тебя слушать. Мне все равно".

- Бабка чудная стала. Старая она, восьмой десяток, ну и чудная стала немножко. С ней держи ухо востро. Зато она единственная из них меня насчет этого не пилила.

Насчет этого.

- Эдак глянула, знаете. Глянула, и все. Можно ведь было подумать, она хуже всех на меня

накинется, верно? Я, во всяком случае, думала. Думала, она ужас как вскинется. Старухи ведь - они какие? А она ничего. Все они. Господи! Мать - та слегла на целый день, и что с ней было! Будто она сама снова попалась. И братец тоже был хорош. А ведь сам-то каков, если подумать? Это же смех один. Только бабка одна - ничего. Я вчера у ней была. Она вся высохла и меня зовет Сисси, а это тетка моя, значит, тетя Сисси, которая умерла. Она думает - я дочка ее, только опять молодая. Путает все. Жалко ее - ужас.

Голос доходил до Самервила уже словно издалека, он не различал слов, он не слушал. Почти совсем стемнело. Лампы из гостиной запускали на террасу длинные пальцы света.

- Началось, врачи говорят, с матки, а в общем-то и неизвестно. Небось уже по всему телу расплзлось.

Он думал: "Ее тут нет, вот закрою глаза, заткну уши - и она перестанет существовать. Все - как было. Ее тут нет - нет".

- Ужас - этот рак. Как пятерня - расправится внутри, и все.

- Да, - сказал он задумчиво, - рак... как клешня.

Она повернулась к нему лицом, и он сразу снова закрыл глаза, чтоб она не видела его, не проведала его секретов. Ее тут нет - ее нет.

- Ой, а что я вам еще скажу! Мне бабка кой-чего рассказала. Оказывается - с ними-то так же было!

В голосе звучало почти ликование.

- Им из-за нашего Дейва пожениться пришлось. Она влипла! А ведь послушать, как они меня песочили, так вроде я первая и последняя и хуже никого на свете нет. Ничего, теперь-то я все про них знаю. Бабка рассказала. Она меня за тетю Сисси приняла и давай мне все рассказывать, я даже не поверила - сперва-то. Она ведь теперь иногда заговаривается, я уж вам сказала, ведь ее на уколах держат. Ну, а потом-то я поверила. И знаете, что я сделала? Как пришла домой, вхожу на кухню и спрашиваю - напрямик выкладываю им все, мол, вы мне не говорили, а ведь Дейв у вас так же родился, в точности, все было у вас так же, только вы поженились, а я нет, вот и вся разница. Взяла и сказала. Они ужинали сидели, салат ели с сардинками. У меня, знаете, даже руки тряслись. А - да ну их всех, мне все равно.

Самервил приоткрыл глаза. Она улыбалась и, отвернувшись от него, смотрела в сад.

Она сказала:

- Я прямо их доконала.

Он вдруг представил себе эту сцену в бакалейной лавке, на кухне, салат с сардинками в белых тарелках, ее лицо и тотчас с ужасом спохватился, что ему интересно ее слушать. Снова ему захотелось замахать на нее руками, крикнуть: зачем вы пришли, зачем, зачем мне это рассказываете? Ведь она говорила так, будто они век целый знакомы, будто они не живут каждый в своем, отдельном, далеком мире.

- Мне ужас как бабку жалко. Я даже сама не ожидала. До того жалко.

Он подумал с тоской: "Она будет приходить еще и еще, и ничего не поделаешь, она будет заявляться сюда с ребенком, и ребенок тоже узнает меня. Придется уехать".

- Им про это не скажешь. Им вообще про такое не скажешь.

Над головой державной укрепили

стяг золотой и тело

волнам предали...

Но перед глазами вставал только страшный образ старухи на больничной койке, и старуха пыталась подняться, сбрасывала с себя одеяло, борясь против своей пошлой, напоказ выставленной смерти. "Где одежда моя, где одежда моя?"

- Ее в отдельную палату поместить пришлось. Сперва она со всеми была, в общей, а теперь ее в отдельную поместили - из-за запаха. Потому ее и дома держать не могли. Запах этот - он хуже всего, да?

"Не надо бы его откапывать, правда, оставить бы его, как есть, и все..."

И тут он вспомнил, увидел Бартона - в точности таким, как он был. Не призрачного Бартона, не Бартона с фотографии. Бартона. Цвет глаз, волос, живое лицо. Бартон, руки в карманах, покачивал головой.

- Поглядите-ка!

Еж, совсем рядышком, лакал из синего блюдечка.

Надо ей сказать, сказать твердо: "Не ходите сюда, я не хочу, не хочу никого". Ведь лето сползет в осень, а там зима, а там она притащит сюда ребенка, и ребенок будет пищать и ползать, а на террасе уже станет холодно, и придется сидеть в комнатах, и она проникнет в дом. Интересно, кому она успела разболтать, что побывала тут, кому уже рассказала про него, про то, как он живет.

Он совсем пал духом. Он сообразил, что, готовясь избавиться от нее, он почти ничего не сказал, не выдал из себя пяти бессвязных фраз. Говорила она одна.

"Не надо сюда ходить. Я всегда был один. И теперь хочу быть один. Что у нас с вами общего?"

Рано утром он бродил по саду, репетируя фразы: "Я купил этот дом, я покончил с обществом... Я не хочу видеть вас, я не хочу никого видеть".

Он долго бродил по саду, его успокаивали привычные доводы, знакомые ходы и тропы доказательств. Повернувшись спиной к сандаловым белым розам, он смотрел прямо перед собой, на водянисто-зеленый свет между буковыми стволами.

Но ведь это неправда, что здесь никто никогда не бывал. Здесь его сестра побывала.

И сейчас, четыре года спустя, он помнил, как, проснувшись утром, он первым делом подумал, что кто-то еще спал под этой крышей, что сестра вдыхает воздух комнаты двумя этажами ниже, - и содрогнулся. Он выбежал из дому, побежал по тропе к озеру, широко загребая руками, - подальше от дома, прочь, прочь. В голове шумело; впервые с тех пор, как сюда переселился, он понял, что не владеет собой, весь расплывается в разные стороны. Явилась сестра, кто-то одной с ним крови, кто-то, кому известно его прошлое, кто вечно твердит о правах и обязанностях, будя в нем старинное, мальчишеское чувство опасности и угрозы.

Он потрянул головой. В саду было пусто, только шуршали, трясь друг о дружку, листья в буковой роще.

Когда-то он сказал Бартону:



- Я ненавижу свою сестру!

Они тогда только что познакомились, впервые вместе поехали на каникулы за границу.

- Я ненавижу свою сестру!

В розовых и лимонных полосках рассвета они стояли тогда на холме над Ассизи. Бартон медленно повернул к нему лицо, и оно побелело от какого-то испуга при этих словах и будто вмиг похудело. Внизу коньки крыш, розовые, желтые, синеватые, как волна, плыли в лучах южного солнца.

- Я ненавижу свою сестру!

- Ты не смеешь так говорить! - Бартон распрямился. - Не смеешь!

Но говорил он даже спокойней, чем обычно, и Самервил не распознал гневных ноток, Самервил засмеялся:

- Ну уж я-то смею. Я ее знаю, я с ней большую часть жизни вместе прожил. Я могу сказать: я ненавижу свою сестру!

И вот Бартон просто-напросто поворотился к нему спиной, он пошел с холма вниз, вниз, не остановился, не обернулся и растворился в городских улочках. Потом, уже к вечеру, Самервил его нашел, он сидел на церковной паперти. Они еще не подыскали себе ночлега. Об утрешнем не сказали ни слова. Он так ничего и не понял. Бартон тогда вообще часто ставил его в тупик и порою пугал. О сестре никогда больше не упоминалось.

Потом-то он понял Бартона, он все про него понял, потом-то они стали взрослые. Он понял, что Бартон не произносит высокопарных слов, как другие, - о человечестве, общем благе, интересах общества и любит он тех, кого знает, особенно же дорожит своей семьей, кровными узами, льнет к матери, сестре, брату, деду и тетке - у Самервила это просто не умещалось в голове. Сам он, как запертой двери, боялся разговоров о кровных узах и, обнаружив в зеркале "фамильный" нос, передергивался от омерзенья. Он говорил: "Я один, один, один, все мое - в моей собственной шкуре, а больше нигде ничего, и никому до меня, слава богу, нет дела".

В детстве он твердил, что он не родился, как все. Было все без него, а потом в один прекрасный миг он взял и появился. Через много лет он понял в полной мере, как страстно ему бы хотелось этого. Он чувствовал себя затравленным и приниженным, вспоминая о своей родственной, семейной связи общности с другими.

- Я ненавижу свою сестру!

Бартон, вспоминал он ревниво, был, наоборот, чересчур близок со своей сестрой, они посылали друг другу письма, открытки, изобретали смешные подарочки, знаки вниманья, у них были свои шуточки, свой условный язык, у них были общие мысли. И потом, через много лет, Самервил уже не мог разобраться, кого из них он ненавидел больше: сестру Бартона или свою собственную.

И Бартон все знал, он качал головой и смеялся, он потешался над ним. Слегка успокаивало Самервила лишь то, что Бартон одинаково мил со всей своей многочисленной родней, даже самой дальней.

- Я ненавижу свою сестру!

И вот сестра явилась сюда. Она не написала ему предварительно, понимала, вероятно, если хоть чуточку его понимала, что он найдет предлог и улизнет, что он вообще не распечатает

конверта. Словом, она не написала. Они не виделись почти одиннадцать лет. Она подъехала к дому как-то под вечер в сентябре на такси, которое взяла от Ситтингема. Явилась.

С годами она расплылась, не усохла, и потому от разительного сходства с ним почти ничего не осталось. Кроме носа, знаменитого "фамильного" носа.

- Ты, кажется, неплохо устроился? Сумел позаботиться о себе?

Он совсем забыл, и тут он вспомнил - эту манеру, этот голос, озвучивший все его детство. Она ходила по дому, по его дому, по всем комнатам, оглаживала мебель, трогала вещи, оценивала опытным глазом.

- Ну, я так и предполагала, это типично. Ты добился всего, чего хотел.

Вдруг она повернулась к нему, стоя у окна гостиной, и падавший в окно свет совсем стер ее черты, сделал лицо пустым, плоским, вовсе никаким. В лице не было следов прожитой жизни. А между тем он легко мог представить себе, как она в своем магазине торгуется из-за случайного столика, быстро и уверенно толкует о серебре, сбывает профану дешевенькую гравюрку.

Как-то раз он там побывал, подошел к самому магазину, заглянул в окно на блестящие вазы, расставленные по дубовым столикам, на горки, полные разных бокалов, на ширмы, кресла, вышитые подушки. Даже отсюда, с улицы, он различал магазинный запах и видел, как сестра там, внутри, разговаривая, жестикулирует, вдруг замечает сбоку в большом зеркале свое лицо, "фамильный" нос и тотчас отворачивается; она всегда себя стеснялась. Одевалась не к лицу, в платья из рогожки или из шелка с кричащим рисунком, носила шляпки, украшенные перьями или фруктами. Он был в городе проездом, по случаю какой-то конференции, вспомнил, что она тут живет, долго разыскивал магазин. Но, разыскав, тотчас уехал, ему не понравился дом, и он боялся встретиться с нею.

- Ты бы приехал и забрал все свое, - сказала она ему тогда, в тот день. - Все цело, все на месте. Приехал бы и забрал.

Самервил с недоумением на нее посмотрел.

- Нас только двое на свете. Мы совершенно не видимся. Вот бы тебе и покончить с этим, приехать и забрать то, что тебе причитается из наследства.

Ветер гнал листья буков по лужайке, нежно подгребал к стенам.

"...что причитается из наследства..."

Ему захотелось убить ее, стереть - толстую, плосколицую женщину, расположившуюся у него в доме, у него в комнате. Свою сестру.

Он сказал:

- Мне ничего не надо, распорядись как знаешь, это твое личное дело. У меня здесь все есть, мне решительно ничего не надо.

- Дом продан. Я взяла это на себя.

Он поехал.

- Лучше б ты забрал что тебе причитается, я хочу, чтобы все было по справедливости. Нас только двое на свете. Приехал бы и посмотрел.

- Нет.

Он вдруг вспомнил вещи из дома в Кенте, вещи, до которых дотрагивался, которые видел каждый день все свои детские годы - узоры ковров, шишечки кресел, больше ему на них не хотелось смотреть.

- У меня тут все есть.

Она снова начала озираться - хозяйка антикварного магазина, - и Самервилу захотелось все спрятать от нее, затворить дверцы шкафов и горок, затворить веками собственные глаза.

- Что ж, меня-то ты этим не удивишь. Оригинальничаешь по своему обыкновению. Меня-то ты ничем поразить не можешь.

Он старался объяснить ей, что ему безразлично ее мнение, что лучше всего ей вообще выкинуть его из головы, но он ничего не мог из себя выдавить, только повторял: "У меня все есть. Мне ничего не надо".

Она осталась еще на день, и мучительно трудно было это выносить, выносить ее запах в доме, слышать, как шелестят, трутся одна о другую ее ноги в шелковых чулках при ходьбе.

Она сказала:

- Снес бы ты эту стену, расширил бы гостиную.

- Вымостил бы ты эту лужайку, приаккуратил бы все, самому было б проще.

- Надо бы все это застраховать.

- Ты хорошо устроился. Но ведь у тебя никогда не было никаких обязанностей, семейных забот.

Хотя у самой у нее муж умер еще до войны, не прожив с нею и года, не оставив детей, не оставив по себе никакого следа. Она сказала:

- А ты помнишь этого твоего давнишнего знакомого? Этого Бартон?

Когда она уехала, он поднялся к ней в спальню и обнаружил на туалетном столике волосы: серые, сухие, ломкие - неживые. У него тряслись руки.

Потом неделями он каждый день просыпался и слушал ветер и стук листвы и наслаждался чувством вновь обретенной свободы, пустотой в доме, радостно оглядывал книги на полках и рядами развешенные по стенам окантованные рисунки Бартон углем, всматривался в прохладный пролет между буками, ведущий к озеру. И думал: "Я тут, я один, у меня есть все. Никто не придет".

Вот так он и скажет все девочке, так он все ей и выложит: "Больше не приходите. Пусть никто не приходит".

Она сказала:

- А куда подевался еж?

На ней было прежнее желтое платье, вздущееся на животе, а на лице прежнее выражение - нагловатое, искусенное.

Самервил медленно распрямился, он высасывал из большого пальца шип розы, складывал в голове слова: "Не приходите, я не хочу разговаривать с вами" - и молчал.

- А я на днях видела одного на дороге - раздавленный, под машину попал. Они ведь не больно смышленные, ежи-то?

В голове у него шумело, ему мучительно захотелось защитить ежей, растолковать ей про них все, чтоб она узнала то, что он знает. Он начал, волнуясь:

- Они защищаются... выпускают колючки... они чувят опасность и сразу сворачиваются... это у них способ обороны...

Снова завела песню пеночка-весничка, и дрозд зашумел в кустах. Самервил разглядывал собственные руки, бледные табачные пятна меж тонких пальцев, черточки, нацарапанные камушком по плитам террасы.

- Вы очень много знаете. Насчет ежей. Жутко много знаете.

Он подумал, уж не смеется ли она над ним.

- Да, наверно, когда вот так живешь тут, весь день не видишь никого, о чем только не задумаешься - и ведь это интересно, правда?

Он неловко распрямился:

- Да.

Он думал: "Не надо было вступать с ней в разговор, не хочу, чтоб она приходила". Просто он так долго наблюдал за ежом, ему нестерпимо было слушать о нем старую вечную напраслину.

- А вы б книжку про него написали. Вот вам и занятие. Отвлеклись бы.

Отвлеклись бы...

Он сказал:

- Мне и без того хорошо... Я... У меня есть все.

- Ну так...

Она прислонилась к стене и прикрыла глаза. Самервил на нее смотрел, и желтое пятно платья на фоне кирпичной стены его раздражало. Когда она явилась, он как раз собирался на озеро, ему хотелось вдохнуть душного, сладкого земляного запаха там, под буками, полюбоваться на воду.

- А трудно стало в гору взбираться. Я сегодня заметила. Трудно - жуть.

Он стоял и молчал, он не знал, что отвечать.

- Приятно к стене прислониться. Она теплая. Приятно. А когда поднималась - я сегодня заметила, будто мешок на себе волочишь. Прямо корова какая-то.

Дрозд перебрался поближе, к крыше сарая в саду.

- Скоро, видно, конец, вот что. Я, знаете, уж подготовилась. Ну, а еще одно - сегодня опять все началось, снова здорово. Прямо никакого терпенья. Вот я и смылась. Представляете? Ведь сто раз им говорено-переговорено. Не уважают они меня, плюют в душу, им бы только командовать, а я, видите ли, должна к ним подлаживаться, вот они добиваются чего.

Она не открывала глаз и, привалясь к стене, говорила, говорила, как лопочет ребенок:

- "Мы сами за ним присмотрим, он останется с нами, будете с нами жить" - вот их песня. "Это все дело наше, семейное, и никого не касается, а ты слушай, что тебе говорят, мы старше, мы опытней. Вы с ребенком при нас останетесь, будешь жить с нами, будто ничего не случилось. Так надо, так правильно, а у тебя просто мозги набекрень".

Она открыла глаза:

- Вот дочка миссис Мэзон - знаете миссис Мэзон, она в бунгало живет? Ну, а дочка ее тоже девочку родила, Салли эту, без мужа родила и пришла с матерью и с отцом жить, все вместе стали жить. Потом-то она замуж вышла, честь честью, за другого, и куда-то они уехали. Ну, а до тех пор жили одной большой счастливой семьей. Меня - озолотите!

Она опустила глаза на вздувшееся желтое платье.

- Ничего, все обойдется. Не я первая, не я последняя. Уж я-то знаю. И рожают, и все хорошо.

Самервил стоял под вечерним солнцем, и голова у него кружилась. Он думал: "Ничего-то я не знаю, ничего не понимаю". Он смотрел на девушку с недоумением и страхом.

В голове у него были картинки, столбцы цифр, обрывки полузабытых мелодий, были мертвые голоса, лица - в голове у него была пустота. Он чувствовал, что вот-вот вдруг улетучится, как бурые сухие буковые листья улетучиваются с террасы в октябре - без следа.

Она сказала:

- У меня все продумано.

Он собирался сказать ей: "Я не хочу больше вас видеть, не хочу с вами разговаривать - больше не приходите".

Но прошло две недели, а она не появлялась. Самервил срезал много красных, желтых, бледных роз, расставил в кувшинах и вазах по всем комнатам, и в доме был густой запах роз, а в буковой роще листья пожелтели от солнца.

Встало перед глазами и не уходило все эти жаркие июльские дни лицо матери, каждое лето в продолжение его детства страдавшей какой-то непонятной болезнью. Сидя на скамеечке у окна, он видел, как голова ее мечется в высоких подушках. За окном лежал сад, где слишком много было декоративных каменных горок, и ровные газоны, живые изгороди из бирючины, и приземистый кедр как бы приседал в собственной черной тени.

- Как томительно лето, - говорила мать, - жара печет и печет. Как я ненавижу лето!

Он смотрел на нее, удивлялся и потом, оглянувшись на сад, видел все иначе, он будто примеривал материнские глаза, как примеривают очки, и он думал ее мыслями. "Как томительно лето!" Но лето потом сделалось его любимым временем года, он скоро раскусил свою мать, и ему стало непереносимо тягостно с нею, тягостно слушать ее капризный, томный голос, а слушать приходилось, она требовала, чтоб он всегда был под боком.

"Ну вот, - думал он, - мне незачем вспоминать все это, я пожилой человек, и я сам себе хозяин, у меня свой дом, свой сад. У меня есть все". Он теперь поднимался совсем спозаранок, когда к деревьям еще липнул туман, и сидел на террасе, читал "Беовульф", и Скелтона, и политические романы Троллопа, и книжку японских стихов в серой обложке - он хотел перечесть все, что когда-то носил ему Бартон.

Часто наведывался еж, сонно слонялся по лужайке или рылся под розовыми кустами, искал улиток.

Но вот как-то вечером, поднимаясь по тропке с озера, он вдруг вспомнил лимонно-желтое платье. И прирос к месту, глядя на свой дом. Подумал: "Ребенок родился, бабка умерла, а я тут, живу-поживаю, у меня есть все. Я плохой человек".

На другой день он спустился под гору, в деревню.

"О, про вас говорят, еще бы. Вы как погода, всегда поговорить можно"...

И сейчас он чувствовал, как на него смотрят, он шел по унылой главной улице, и окна уставились на него, как глаза.

- Что ж тут сделаешь - только терпеть, а больше, я вам скажу, тут ничего и не сделаешь. Прямо удивляюсь, как я вынесла эти последние недели. Доктор говорит - оставьте ее в покое, не трогайте ее, пусть, не обращайтесь внимания. Интересно, а как мне внимания не обращать? Я ж ведь расстраиваюсь, ведь это ж смотреть невозможно. Она все для него делает, кормит, моет, а глядит на него, как на кусок замазки, ей-богу, миссис Хейзуел, ну как на кусок замазки. Это ж против природы, верно же? Хорошо доктору говорить, а я прямо ничего не пойму, нет, тут что-то не так. Ну, а еще больница, и ведь каждый божий день, и неизвестно, когда это кончится, и она нас почти что и не узнает, даже не знает, кто к ней ходит. А тут еще ребенок этот, нет, только терпеть, только терпеть. Да.

Самервил ни слова не сказал, он вышел из лавки, оставил список продуктов и вышел на солнцепек, он с трудом переводил дух и жалел, что услышал голос ее матери, узнал, что старуха все еще умирает в больнице, а что сама она кормит и моет ребенка, но смотрит на него, как на кусок замазки. Женщины смолкли, когда он выскочил вон, мать девушки уставилась на него, толстая, неприязненная, в синем нейлоновом халатике, а покупательница смотрела скучливо, презрительно, и взгляды их, голоса, ужасная чужая жизнь будто оставляли на нем пятна.

Жара дрожала над дорогой, когда он шел обратно, в гору, к себе.

Придя домой, он беспокоило, как прежде с ним здесь не бывало, бродил из комнаты в комнату, прислушивался к тишине, поправлял розы в вазах. Он думал: "Надо б написать книгу про ежа, как она велела, ответить на все их вопросы, поделиться знаниями, скопленными за месяцы наблюдений. Надо оправдать свою жизнь".

"Вот вам и занятие. Отвлеклись бы..."

Отвлеклись бы.

Он подошел к письменному столу. Надо разобрать заметки, наброски на клочках бумаги, дневниковые записи - надо начать.

Он опять наткнулся на то нераспечатанное письмо в глубине стола. Он думал: "Ребенок родился, нежеланный ребенок. Старуха умирает". Он читал: "2 сентября. Еж поел молочного крема с блюдечка (сладкого). Рыбу потом. Холодное утро и вечер. Зимняя спячка?"

"Много писать не могу... не могу держать ручку... просто я подумал, тебе интересно про Хайтена. Он ведь на пианино играл, да? Которое у тебя стоит... Не надо бы его откапывать, правда, оставить бы его, как есть, и все..."

Самервил вышел на террасу, и каменные плиты пола дохнули на него жарой, как печь. Тени были плотные, обведенные черным. Все застыло.

Он думал: "У меня есть все, никто не придет, у меня есть все. Я плохой человек".

Он несколько лет не ездил на автобусе. Он забыл запах сидений, нагретых солнцем через

стекло, забыл, как шершавые белые билетки со стрекотом выскакивают из автомата. Забыл тесноту, пристальные взгляды чужих. Его словно выпустили из тюрьмы после долгого заключения. Выйдя из автобуса на главной улице в Ситтингеме, он растерялся, не знал, куда ему идти, шум машин сбивал его с толку. Только магазин "Вулвортс" выглядел как всегда - те же золотые по красному буквы. Он немного постоял в дверях магазина, в безопасности.

Приняв рано утром это решение, он недолго раздумывал. Просто он обязан был приехать и увидеть то, что ему надлежало увидеть. Уклонись он от этого и жизнь завянет, как забытый в горшке цветок. Нельзя быть слишком счастливым.

Он заранее представлял себе больницу, вид корпусов, как ломти торта, расставленных под углом один к другому, знал, что стены снаружи будут выкрашены грязно-желтой краской, а коридоры - зеленой. Он знал, чем тут будет пахнуть, и знал эти звуки - металла и эмали, и повизгиванье кресел-каталок на натертом полу.

Когда он шел по подъездной аллее, на минуту все у него сжалось внутри при мысли о кроватях, пугливо прячущихся за ширмами, о махровых тепличных цветах. Но входя в легко вращающуюся дверь, он уже ни о чем не думал и не знал, что надо сказать.

- Ее фамилия миссис...?

Господи. Он пытался припомнить буквы, выведенные над дверью деревенской лавки.

- Тр...

- Тэ...

- Трэ...

- Трэйб.

- Миссис Трэйб. А вы, простите?

Он ответил удивленным взглядом.

- Как ваша фамилия?

Самервил облокотился на край конторки, наклонился, сказал с отчаяньем:

- Моя фамилия Самервил... Я ее брат... Брат миссис Трэйб... У нее рак... Она в отдельной палате... Я...

На оконном стекле дрожала оса.

- Так вы брат миссис Трэйб? Вы приехали издалека? Что же вы сразу не сказали?

"Потому что боюсь, - хотелось ему ответить, - я все вру, я сам не знаю, зачем приехал..."

- Вот сюда...

- Миссис Трэйб? Проснитесь-ка, миленькая, ну вот, сядем, вот так, удобненько и хорошо. Давайте ротик утрем. А, миссис Трэйб?

В комнате пахло болезнью и жаром.

- Это ваш брат, миссис Трэйб. - Она наклонилась к самому уху старухи. Брат. К вам приехал ваш брат.

Блестящие глаза, кожа да кости. Полное отсутствие плоти.

- Вы только недолго. Долго нельзя, хоть вы и приехали издалека. Может, потом, попозже. Это ваш брат, миленькая. Вы не ждите от нее слишком многого, мистер Самервил. Многого не ждите.

Глаза открылись, темные, стеклянные, будто камни под водой - в огромных глазницах. Самервил отпрянул, он сжимал кулаки в карманах, вдыхал гнойный запах. Потом шея вытянулась и складками расползлась, как у черепахи. Она сказала:

- Это наш Джон, - и засмеялась, не то закашлялась, приводя его в ужас. - Я же им говорила! - Глаза скользнули в сторону, снова остановились на его лице. - Я им говорила. Он еще приедет, говорю, погодите, я же его знаю. Он приедет. Я им говорила. А она - все она, она - мне доказывает, будто ты умер. Она нас никогда не любила. А я им говорила...

Самервил бросился вон.

- Мы делаем что возможно, мистер Самервил. Но вы же сами видите, правда? Мы делаем что возможно.

Она догнала его у стеклянной двери холла.

- Теперь уж недолго. Простите, что приходится такое говорить.

"Ничего не надо говорить, - думал он. - Не разговаривайте со мной".

- Я рада, что она вас повидала. Очень хорошо, когда удастся, чтоб они повидали всех родных. Я рада. И ведь она вас узнала, правда? Сразу же. Она далеко не всех узнает, особенно в последнее время. Простите, что приходится такое вам говорить.

Она вышла вместе с ним за стеклянную дверь, провела его через всю территорию, беседовала с ним о погоде, о том, что они делают все возможное для его сестры. Каким-то таинственным образом ему будто удалось соблюсти правила игры и выиграть.

На улице воняло выхлопными газами, и вся разница между его собственным миром и этим словно свелась к разнице запахов, дурных и хороших, дурных и хороших звуков.

В автобусе у него так дрожали руки, что мелочь высыпалась на пыльный пол.

С помощью лжи он пробрался в комнату умирающей старухи, совершенно ему незнакомой, он провел всех, и она приняла его за своего покойного брата.

Он расплакался, на него глазели, толстуха, сидевшая рядом, пересела подальше, к самой кабине водителя.

Когда он брел по аллее к кирпичному дому, он понял, что никакого ответа не получил, а ведь он предпринял ужасное путешествие, чтоб найти ответ, решить задачу. Бартон - тот знал бы, что делать, преспокойно сидел бы на солнышке и качал головой, - Бартон все бы ему объяснил. Значит, он во всем полагается на человека, который уж двадцать пять лет как умер?

Полуденное солнце подпаляло мезембриантемы на клумбе под окнами гостиной, плоские и блестящие, как медальоны.

"Но я же тут, у меня есть дом, есть все, - думал Самервил. - Никто не придет, никто мне не помешает".



За входной дверью, на коврике, опять лежало письмо.

На рассвете он стряхнул последний кошмар, открыл глаза, отогнал страшные картины, подстерегавшие за сомкнутыми веками, и поднялся.

На лужайке ранние лучи, как бритвенные лезвия, серебрились между травинками. Пахло сыростью.

Понемногу он успокоился, уже не тряслась рука, державшая кофейную чашку. Он решил пойти к озеру.

Выйдя из зеленого прохода меж буков, он заметил, что трава у воды рядом с тропкой притоптана, следы темнели в росе, как кровавые пятна. Он встал, прислушался, глядя на воду. Тут было тихо и еще совсем прохладно.

Скоро он снова медленно побрел вдоль берега.

Он нашел тело ребенка в ямке под деревом. Она даже не старалась его спрятать, только кое-как прикрыла личико листьями и травой. Оторванные края еще темно зеленели соком.

Самервил не удивился и не испугался, он только понял сразу, что ему надо что-то делать, и понял, как именно поступить. На тельце не было никаких отметин, только чуть посинели личико и шея и чуть вздулись веки.

Она знала, что он сюда придет, что скорей всего он первым найдет ребенка. Его странно тронуло это доверие. Каково ей сейчас и куда подалась она, бедная?

На дальнем берегу озера стоял старый сарай, правда, Самервил там почти ни разу не был с тех пор, как сюда приехал, и он не знал, в каком состоянии лодка, могла и сгнить от сырости, без употребленья.

Он минуту постоял, глядя вниз, на тельце, прикрытое листвой. Потом ему пришло в голову, что кто-то еще может нагряться, например, мальчишки, таскавшие у него рыбу, про которых она говорила. Он отнес ребенка в сарай. Тельце странной тяжестью обвисало у него на руках, и ладонь, случайно задев по личику, ощутила холод. Что же она сделала?

Потом он вернулся в дом, он торопился и нервничал, надо было скорей осуществить план, сложившийся у него в голове.

За цветочными горшками в кладовке он взял самую большую корзину, тщательно отпилил с обеих сторон ручки. Плетенье было плотное, надежное. В комнате из комода он достал свежую наволочку.

Солнце поднялось уже высоко, и раскрылись мезембриантемы. Когда он снова спустился к озеру, роса высохла и вода блестела по краям, как медь.

Он поднял ребенка, закутал в наволочку, положил в корзину, и тут сердце у него оборвалось от страха, что кто-нибудь нагрянет, пока он не кончил дела. Но вины он не чувствовал.

Раньше от сарая шел гладкий отлог к самой воде, но теперь все заросло, и он с трудом волочил лодку по корням и траве. Весла лежали на дне лодки, все в пыли и паутине. У края воды он шагнул в лодку, прошел от носа к корме, проверил деревянное сиденье. Ничего, озеро небольшое, лодка выдержит, доставит до середины и обратно, а в случае чего можно добраться вплавь, совсем тихая вода.

Он поставил корзину на дно лодки. Корзина пришлась как раз впору ребенку.

Сперва ему показалось, что он разучился грести, он забыл, как браться за весла. Долгие вечера каждое лето проводили они на реке. Но ведь греб всегда Бартон.

Бартон.

Теперь для него важны и другие, для него важна девочка, и старуха на больничной койке важна, и мертвый ребенок. Он думал: я сделаю все что могу.

На середине озера он сложил весла. Была тихая вода. Буки были ярко-желтые там, где их просвечивало солнцем, и темные в гущине, а за ними виднелся красный кирпичный дом. Все застыло.

Самервил вынул из кармана оба нераспечатанных письма и положил в корзину рядом с ребенком в белой наволочке. Потом спустил корзину за борт, и без всплеска она коснулась воды, мгновенье помедлила и едва заметно поплыла прочь от лодки.

И тотчас же Самервил стал разворачивать лодку.

Уже почти у самого берега он оглянулся. Корзина почти скрылась из виду, она погружалась глубже и глубже в воду и все еще уплывала. Самервил подождал, пока она совсем не исчезла.

В комнате позади лавки девушка тихо ходила по комнате, вынимала вещи из шкафов и комодов, складывала чемодан. Было начало седьмого. Она двигалась механически, как в тумане. У нее давно уже все было продумано.

Самервил снова заварил кофе и пошел с чашкой на террасу. Он хотел почитать. Но скоро он увидел, что по лужайке к синему блюдечку продвигается еж, и он осторожно отложил книжку и принялся наблюдать ежа.

Его ничто не тревожило.